

Исроэл Эмиот



Биробиджанское дело

(Хроника страшного времени)

*...И будет жизнь твоя висеть на волоске, и будешь
день и ночь страдать и не будешь уверен, что выживешь...*

(Дварим, Ки Таво. 28:66)

Биробиджан
2020

УДК 82-3

ББК 84

355

БИРОБИДЖАНСКОЕ ДЕЛО (Хроника страшного времени). – Биробиджан, 2020. – 200 с. Перевод с идиша: Зиси Вейцман. Редакторы: Леонид Школьник, Елена Сарашевская.

ISBN 978-5-6044634-0-6.

Еврейский поэт и прозаик Исроэл Эмиот (15 января 1909, Острув-Мазовецки, Польша — 6 марта 1978, Рочестер, шт. Нью-Йорк) — человек непростой судьбы. Начало Второй мировой войны застало его в Варшаве. Ему удалось бежать в занятый Красной Армией Белосток. Благодаря рекомендациям Переца Маркиша начал сотрудничать в выходивших в Советском Союзе изданиях на идише. Публиковался в газете «Эйникайт» — органе Еврейского антифашистского комитета. В качестве корреспондента ЕАК уехал в июле 1944 г. в Биробиджан, с которым связывал большие надежды. Работал в газете «Биробиджанер штерн», публиковал свои произведения в литературном альманахе «Биробиджан». После ликвидации ЕАК в 1948 г. Эмиот был арестован и осужден по так называемому биробиджанскому делу. Отбывал срок в лагерях Восточной Сибири. Был амнистирован в 1956 году. Об этих событиях, о том, что пришлось испытать в ГУЛАГе, автор рассказывает в этих воспоминаниях. На языке оригинала, на идише, «Биробиджанское дело» вышло в издательстве «Шлойме Богород», Рочестер, шт. Нью-Йорк, в 1960 году. В 2014 году израильский поэт Зиси Вейцман перевел книгу на русский язык. Впервые опубликовано с продолжениями в интернет-издании «Мы здесь».

**Издание осуществлено ОО «Наследие ЕАО»
с использованием средств гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предусмотренного Фондом
президентских грантов.**

© Исроэл Эмиот

© Зиси Вейцман

© Елена Сарашевская

© ОО «Наследие ЕАО»

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие автора	4	Медкомиссия	109
Я еду в Биробиджан	5	Авраам-Хаим и сефардские евреи	112
Оттепель по-биробиджански	8	Еврейка из Риги	116
В тюрьме	11	Китайцы и другие.....	119
Первый допрос	15	«Дело врачей».....	122
Мой первый следователь	19	«Еврейские бригады» и конец антисемита	126
Озирский, сатрап из МГБ.....	23	Триста женщин из Монголии.....	128
Мой первый сосед — молодой матрос	29	Когда умер Сталин	132
Еврейский «переводчик» и японские генералы.....	34	С Мойше Бродерзоном на «этапе»	135
«Философия» советского вора.....	37	Еврей Вронский из советской разведслужбы	139
Володино сердце	40	Бандит Лёня Костов	142
Но был один, кому повезло... ..	43	Октябрьский праздник в лагере.....	145
В ожидании «судебного процесса» ..	48	За «попытку к бегству»	148
Приговор	52	Русское сердце, еврейский стон.....	152
По дороге в лагерь	56	Латыш еврейского происхождения	156
Тайшетлаг. Пересыльный пункт	59	Пёс по кличке Тихий	159
В больнице Тайшетлага	66	Заключенные из Норильска	162
Помощник парикмахера	69	Бунт в родном лагере	165
Писатель Бер Слуцкий.....	73	Шолом-Алейхем и «Песнь песней»	168
Мой первый лагерь. «Прожаривание клопов»	78	Если бы моя мама увидела.....	172
Айзик Вайнер из Ровно и лагерные «придурки»	81	Накануне освобождения.....	174
70-летний профессор С.	84	Прощание с Бродерзоном.....	178
Врач-нацист, мясник-еврей из Москвы, Голда Меир и другие	86	Деревня Степановка.....	181
Становлюсь «своим»	91	Назад в Биробиджан	184
Поэт Мойше Бродерзон	96	Москва — Варшава — Нью-Йорк.....	192
Тайшетлаг. Продолжение.....	99	Послесловие	196
Пиня, «Кол нидрей» и скрипка Страдивари.....	103		

Предисловие автора

«Биробиджанское дело» — дело, по которому осудили невинных людей. Таков трагический итог мечты, питавшей умы многих евреев.

Почти все главы, вошедшие в эту книгу, публиковались с продолжением в нью-йоркской газете «Форвертс» с 7 февраля по 15 апреля 1959 года. Сейчас, после некоторой обработки, я представляю их читателям книги.

Эти строки пишутся в то время, когда история делает огромные усилия в борьбе за демократию и мир, за мир, в котором не повторятся ужасы гитлеризма, истребившего миллионы людей, и ужасы той системы, которые привели к событиям, описанным в книге.

Если эта книга хотя бы отчасти послужит предупреждением и напоминанием об этом, автор будет считать, что достиг своей цели.

Моя книга — это хроника событий. У меня не было намерения приукрашивать события, художественно их живописать.

Не раз, когда я работал над этими главами, я не мог унять свое сердце, — столько боли поднимают во мне воспоминания о пережитом. Пусть простит меня читатель за эту откровенность.

От всего сердца благодарю Гилеля Рогова, главного редактора газеты «Форвертс», чудесного, доброго человека, а также ответственного редактора этой газеты д-ра Л. Фогельмана за тепло и дружеское отношение, с которыми они встретили меня в Америке.

Выражаю благодарность друзьям: известному еврейскому поэту и эссеисту Мейлаху Равичу и журналисту «Форвертса» И. Шмулевичу, поддержавшим меня в трудную минуту.

Сердечное спасибо верному другу еврейского слова, пламенному патриоту еврейской культуры Шлойме Богороду, вице-председателю совета по еврейской культуре в Рочестере, оплатившему издание этой книги.

Братский привет моим сердечным друзьям — известному писателю Йосефу Окрутни и его жене Эстер в Буэнос-Айресе, не забывавшим меня в трудные моменты жизни.

**Исроэл Эмиот,
Рочестер — Нью-Йорк, январь 1960**

Я еду в Биробиджан

В феврале 1944 года вместе с другими еврейскими писателями я был приглашен в Москву на митинг Еврейского Антифашистского комитета (ЕАК), чтобы выразить протест против гитлеровских злодеяний над еврейским народом.

Я тогда находился в Алма-Ате, столице Казахстана, в составе группы еврейских писателей. В эти трудные военные годы все мы были в бедственном положении, но писать не переставали. Кроме стихов, я еще писал корреспонденции о жизни эвакуированных евреев в Казахстане. В Москве ЕАК использовал эти материалы для зарубежных еврейских газет и журналов, с которыми комитет имел тесные контакты.

Наверное, мои корреспонденции столичным товарищам нравились, и когда я приехал в Москву, мою кандидатуру выдвинули в качестве постоянного корреспондента по Биробиджану, точнее, по всей Еврейской автономной области.

Тогда на пленуме ЕАК стоял вопрос о передаче Крыма под еврейскую автономию. Эту идею защищал когда-то Ларин (Лурье), который был в свое время одной из крупных советских фигур¹. Сталин же был ярким противником передачи Крыма евреям, — он боялся, что евреи в случае войны будут недостаточно «надежным элементом». В одном из своих последних интервью Никита Хрущев публично признался, что в то время он поддержал сталинскую точку зрения.

В этих воспоминаниях я не намерен вести какие-либо споры. Буду приводить лишь факты. Идея с Крымом провалилась. Интересно вот что: на пленуме ЕАК присутствовали представители ЕАО, которые расценивали эту ситуацию как благоприятную для Биробиджана. Биробиджанская делегация побывала у Калинина, и «всесоюзный староста» заверил, что он придерживается своей идеи — как известно, Калинин был давним приверженцем Еврейской АО и видел в ней не

¹Ларин (Лурье) — Юрий Ларин. Настоящее имя Михаил (Ихил-Михл) Залманович Лурье (1882–1932), деятель российского революционного движения, советский хозяйственный деятель, экономист, публицист. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

только базу для экономического развития, но и место, где будет обеспечено будущее советских евреев.

Представители Биробиджана, с которыми я проживал в одном номере гостиницы «Москва», агитировали меня вместе с ними ехать в ЕАО трудиться в области культуры. Мне вручили брошюру с речью М. И. Калинина, произнесенной в 1926 году на конференции ОЗЕТа, и я воодушевился.

Председатель ВЦИК открыто говорил о том, что Биробиджан должен стать Еврейской республикой. Только проживая компактно, евреи смогут развивать свою государственность и сберечь свою национальную культуру.

Я ухватился за эту идею, хотя Илья Эренбург еще тогда, на пленуме, бушевал:

— Вы хотите создать новое гетто!

Лейб Квитко, Арон Кушников, Давид Бергельсон и другие еврейские писатели-москвичи, с которыми я вошел в контакт, благословили мой отъезд в Биробиджан, высказав много добрых пожеланий. Бергельсон в позапрошлом году побывал в области. Написал цикл рассказов и даже роман. Он очень хорошо знал область, восхищался красотами природы и богатствами ее земли.

— Биробиджан для еврейского писателя и поэта, — напутствовал меня Бергельсон, — это настоящий кладезь, источник вдохновения.

Позже, когда я уже находился в области, Перец Маркиш часто мне писал, всячески подбадривал, добавляя, что если бы не был столь сильно занят в Москве, то обязательно приехал в Биробиджан. Но в 1944-м, накануне моего отъезда, он не был в восторге от моего решения: «Не понимаю, зачем уезжать так далеко?» Тем не менее он старался мне помочь в меру своих возможностей. Через русского писателя он передал мне в дорогу некоторую сумму из Литфонда. Председатель Совинформбюро, заместитель министра иностранных дел Соломон Лозовский, надзиравший над Еврейским и всеми другими антифашистскими комитетами страны, через Михоэlsa официально отказал мне в возможности ехать в Биробиджан в качестве корреспондента, поскольку я был беспартийный, и к тому же родом из Польши. Поэтому ЕАК не мог официально субсидировать мою поездку. Разрешение

ехать на Дальний Восток я все же получил. Благодаря известному советскому писателю Перецу Маркишу — энергичный, всегда готовый помочь, добрый друг еврейских писателей, особенно эвакуированных, он знал пути к чиновникам от Союза писателей.

До сего дня не могу забыть, как я с запиской от Маркиша прибыл к Фадееву, известному русскому писателю, позже покончившему самоубийством. Фадеев меня благожелательно принял и спросил:

— Вы знаете Маркиша?

— Знаю ли я Маркиша? Вот вам от него записка!

— Я имею в виду, знаете ли вы наизусть его стихи?

Мне стало неудобно из-за того, что ни одной строки Маркиша не помнил.

— А я, как видите, помню многие его стихи наизусть! — и Фадеев начал читать фрагмент из поэмы Маркиша.

Мои встречи с еврейскими советскими писателями — тема для отдельной книги, которая (очень надеюсь) будет написана при других обстоятельствах.

Когда в июле 1944 года я приехал в Биробиджан, состояние еврейской культуры было здесь удручающим. Еврейская газета «Биробиджанер штерн» в годы войны была закрыта. Выходила лишь «Биробиджанская звезда», в которой время от времени появлялась еврейская полоса. До боли щемило сердце: в типографии стояли ящики с еврейским шрифтом, первоклассные еврейские наборщики крутились без дела, но еврейская газета не выходила!

Еврейский театр все же действовал, играли «Колдунью» Аврома Гольдфадена, трагедию «Уриэль Акоста» Карла Гуцкова в переводе на идиш Эммануила Казакевича и ряд классических пьес из еврейского, русского и зарубежного репертуара. Таясь, евреи вспоминали и смаковали спектакль «Бойтрэ» («Бойтрэ-разбойник»), который театр ставил пятьдесят раз, пока Мойше Кульбака, автора этой пьесы, написанной в жанре народной драмы, не арестовали.

Всего одна еврейская школа еще работала, и приятно было слушать, как еврейские дети с восторгом декламировали Менделе, Перца, Шолом-Алейхема, Бергельсона, Гофштейна и других еврейских писателей. Правда, официальным языком области, как в 1936 году,

когда идиш звучал в суде, милиции, исполкомах и других учреждениях, еврейский язык уже не был. Педагогическое училище, в котором до 1937 года было еврейское отделение, выпускавшее учителей для начальных еврейских школ, тоже ликвидировано. Но все-таки определенное оживление начиналось. Уже в начале 1945 года снова стала выходить газета «Биробиджанер штерн». В первые два месяца — один-два раза в неделю, позже — три-четыре раза еженедельно. В 1946 году стал издаваться на еврейском языке литературный альманах «Биробиджан».

Оживился и Биробиджанский ГОСЕТ. Местные еврейские писатели готовили для театра свои пьесы. Специально из Вильнюса сюда был доставлен известный артист и режиссер знаменитой «Виленской труппы» («Ди вилнер трупэ») Алексей Штейн, своей великолепной режиссурой и культурой сделавший немало для биробиджанского театра. Были приглашены новые артисты, и руководство области даже ходатайствовало перед начальником Главного управления «Дальстроя» генералом Иваном Никишовым, ведавшим лагерями на Колыме, об освобождении одного из талантливых еврейских артистов, которого посадили еще в 1938 году, во время так называемой ежовщины. Реорганизован был областной музей, который помимо краеведческих экспонатов обладал интересной еврейской коллекцией. В область приехали писатели, художники, ученые. Планировалось даже открыть в Биробиджане еврейское высшее учебное заведение.

Но еврейское население в области было сравнительно небольшим. В конце войны евреев в Биробиджане насчитывалось не более 25 тысяч.

Оттепель по-биробиджански

Эвакуированных евреев из Украины, Белоруссии и Польши в Биробиджане было не много. Их напугал горький урок страшных 1937–1938 годов, когда большинство переселенцев, приехавших из-за границы, были арестованы и уничтожены. Да и не только они.

Несмотря на это, евреи в Биробиджане были как бы «у себя



дома». Не секрет, что повсюду, особенно на оккупированных немцами территориях, бушевал антисемитизм. Антисемиты, скрывавшие до войны свои низменные инстинкты, развязали языки, особенно на Украине. Но в Биробиджане было иначе. Я помню сцену, когда один гражданин, приехавший с Украины, посреди улицы в пьяном угаре крикнул: «Бей жидов!» Со всех сторон, изо всех закоулков примчались бывшие фронтовики, прямо на улице стащили с этого пьянчуги одежду и так его отдубасили, что тот, полуголый, поднял руки вверх и заорал: «Люблю, люблю евреев!» Звучит как анекдот, но это факт, сам видел. К слову, жители Биробиджана, выросшие ли в этом городе, или сюда переселившиеся, не стеснялись заехать по морде тому, кто произносил хоть одно антисемитское слово.

Через короткое время вышло постановление правительства о добровольном переселении еврейского населения Украины в Биробиджан. Как корреспондент газеты я читал в облисполкоме правительственные телеграммы о переселении, подписанные Сталиным или Маленковым, ставшим к тому времени правой рукой вождя. Переселение происходило за счет государства, и следовавшие на восток поезда перевозили людей бесплатно. Каждому переселенцу полагалось триста рублей. Кроме того, каждый переселенец мог получить ссуду в размере десяти тысяч рублей с выплатой ее в течение десяти лет

— для приобретения инвентаря, необходимого для обработки земли.

С Украины переселились тогда десять тысяч еврейских семей. Людская масса была довольно пестрой. Подавляющее большинство прибывших были мастерами своего дела: отличные ремесленники, труженики тяжелой промышленности, инженеры, врачи, учителя и опытные земледельцы, даже служащие высокого ранга, которых нехотя увольняли с их должностей на Украине. Среди них — директор прославленного Херсонского элеватора, замечательный организатор производства, который предпочел возглавить райземотдел (районный земельный отдел) в Биробиджане и возможность трудиться среди евреев, чем руководить центральным зернохранилищем на Украине. Известны и другие подобные случаи.

Биробиджанцы рассказывали, что подобного национального пробуждения, такого обилия еврейской речи на улицах города они не помнят с 1936 года. Даже встал вопрос об открытии в области нескольких еврейских начальных школ в районах, где обосновалось большинство переселенцев.

Как известно, каждая административно-территориальная единица в Советском Союзе имела свой ежегодный план развития. Был такой план и у Еврейской АО. Кроме общего госбюджета на развитие области, Биробиджан получал помощь от американских евреев. Причем помощь приходила не только в виде одежды и продуктов питания: американцы дарили целые мастерские, фабрики, электростанции, моторы и дизели, различные машины, пилорамы, стандартные дома (из такой партии «голландских домов», закупленных американскими евреями для ЕАО, в Биробиджане была возведена отдельная улица). Так называемый ленд-лиз давно уже закончился, но американские евреи не переставали поставлять свои дары Биробиджану и Сталинграду (наиболее пострадавшему в годы войны городу).

Биробиджан и его окрестности уже тогда насчитывали около сотни тысяч жителей. Кто видел другие населенные пункты Дальнего Востока, согласится, что Биробиджан по своей спланированной симметричной застройке, прекрасному озеленению и асфальтированным улицам является одним из красивейших дальневосточных городов.

На весь край ходит добрая слава об областной больнице и ее врачах-специалистах — в своем большинстве евреев. Особенно отличаются доктор Я. Митценгендлер и хирург И. Рабинович. Областная больница рассчитана на несколько сотен коек. К ней пристроено еще одно отделение — родильное.

Кроме десятка разных артелей, в городе работают фабрики легкой промышленности: швейная, ткацкая, вязальная, обувная, пищевых продуктов, а также обозный завод.

Еврейский характер строительства и развития Биробиджана закончился в 1948 году. Экономически область продолжала развиваться, но уже не как Еврейская автономная, а как административно-территориальная единица Хабаровского края.

Деятельность еврейских учреждений культуры стремительно сошла на нет. Солидный Биробиджанский еврейский театр был превращен в Дом пионеров и школьников, а артисты театра от страха перед арестом разъехались по огромному Советскому Союзу. Руководители области, среди которых были и деятели культуры, и еврейские писатели, были арестованы. Вся их деятельность в области за период с 1945 по 1948 год была названа «националистической».

Меня арестовали в Биробиджане, но судили в Москве, заочно, поэтому наказание я получил «мягкое» — вместо 25 лет или смертной казни меня осудили «лишь» на 10 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях Восточной Сибири.

Виноват я был в том, что работал корреспондентом Еврейского антифашистского комитета. Также меня обвинили в контрреволюционной деятельности и в «прямой связи с Биробиджанским делом».

В тюрьме

Удар, снова удар, глухой удар... Этот ужасный звук, который слышится из-за железной тюремной двери, знаком мне с юных лет, еще по Варшаве.

Это случилось на улице Павия, в одном из дворов которой я жил у своего дяди и учился в ешиве. Какой-то неудачник тогда выбросил-

ся с пятого этажа. Я видел огромную лужу крови, сборище людей, но больше всего мне запомнился страшный удар падающего тела об асфальт...

Не находя себе места, я бродил по Биробиджану сам не свой, ожидая в течение нескольких месяцев, что вот-вот меня «возьмут». Не зря ведь меня уволили с работы и на другую, даже тяжелую, физическую, принимать отказались.

Каждую ночь я прислушивался к любым звукам и шорохам: казалось, за мной уже пришли. Бродя от безделья и страха по городу, я завидовал продавщице, торгующей овощами на рынке: ей хорошо, ее не тронут, не заберут. Каждый день я прощался с великолепным парком, врезавшимся зеленым островком в голубую Биру. Снова восторгался переброшенными через речной поток мостиками, достойными кисти Поленова, великого русского живописца, любившего изображать такие речки, в которых отражаются деревья и дремлет душа этого мира.

Сотни раз я прощался со знаменитой биробиджанской сопкой, откуда открывается великолепный вид на весь город. Не раз я поднимался на вершину сопки и восхищался Биробиджаном, возведенным еврейскими руками. Когда я приехал сюда, тайга от города уже отступила. Я гордился трудом евреев-работяг, выкорчевавших тайгу и построивших город, — один из красивейших на Дальнем Востоке.

Кажется, совсем незаметно промелькнул этот год — 1947-й... Прибыли эшелоны с новыми переселенцами. Людские потоки, текущие к вокзалу. Пионерские отряды из городских школ забрасывают цветами приходящие эшелоны. Кажется, все оркестры области пришли на праздник и играли еврейские мелодии. В глазах переселенцев — слезы радости. Прибывших размещают в бараках и домах. На улицах возбужденные евреи танцуют от радостного осознания того, что встретились в Биробиджане с собратьями. Еврейские писатели читают переселенцам свои произведения.

Вместе с переселенцами в одном из эшелонов приехал знаменитый еврейский писатель Дер Нистер. Он верил, что спасти еврейскую культуру в Советском Союзе от угасания можно в том случае, если евреи сконцентрируются в одном месте — в автономной области. Я

помню его прекрасное лицо, мягкие жесты, плавную, словно молитва древнего цадика, речь.

И вдруг — будто таинственная черная рука в пятницу вечером выбила стекла в окнах, и ветер затушил горящие свечи в маминых субботних подсвечниках. Из Москвы стали приходить «приветы» один страшнее другого: Еврейский антифашистский комитет ликвидирован! «Эйникайт» — единственная еврейская газета — больше не выходит! Издательство «Эмес» и ГОСЕТ — закрыты! Еврейские писатели — арестованы! Советские газеты пестрят сообщениями о евреях. Русские псевдонимы профессоров и писателей раскрыты — объявлены настоящие еврейские фамилии и имена их обладателей. Элиту критикуют за «космополитизм», но ясно, что все это в целом направлено против еврейского народа.

У сталинского сатрапа Лаврентия Берии в Биробиджане была правая рука — генерал-полковник Сергей Гоглидзе, председатель МГБ по всему Дальнему Востоку. Его владения простирались от берегов Тихого океана до Читы. На территории этого «царства» можно разместить всю Европу и, наверное, еще другие страны. Гоглидзе был жесток, коварен и к тому же дьявольски работоспособен. В каждом большом городе его «департамента» находились специальные тюрьмы.

Совсем недавно генерал Гоглидзе посетил Биробиджан. Произошло это после того, как в Москву срочно вызвали руководителей области — секретаря обкома партии и председателя облисполкома¹. Что означала эта внезапность? Из Биробиджана до аэродрома в Хабаровске не больше 180 километров, по железной дороге езды три часа. Специально для них подогнали дрезину, из Хабаровска на самолете доставили в столицу. Там ими занималась целая комиссия во главе с Маленковым. Обратный каждый вернулся со «строгим выговором с занесением в личное дело». Вскоре после их прибытия по области

¹ Руководители области, чьи имена автором не названы, — первый секретарь обкома ВКП(б) Бахмутский А. Н. и председатель облисполкома Левитин М. Е. Оба вскоре после описываемых событий были репрессированы.

прошли митинги, на которых трудящиеся осудили «национализм» своих руководителей, приписав им все мыслимые и немыслимые проступки и злодеяния.

Их «прегрешения» состояли в том, что Биробиджан принял американскую помощь в виде одежды и обуви, которые простые евреи США отправили жителям области. А еще они были «виноваты» в том, что в области, которой они руководили, стали все чаще говорить о развитии еврейской культуры. Планировалось открыть университет с преподаванием на идише, предполагалось увеличить объем и периодичность газеты «Биробиджанер штерн», создать солидное еврейское издательство, а областной краеведческий музей перепрофилировать на историю еврейского народа.

Основная претензия выглядела так: насаждение еврейской культуры не имеет под собой почвы, поскольку большинство населения области еврейским не является.

Об этом мы пока что читали в газетах, но вскоре из наших обвинительных актов мы узнали о дьявольской провокации, которую Берия со своими прислужниками решил, словно праздничный пирог, преподнести Сталину.

Свою паранойю — видеть повсюду предателей и шпионов — Сталин переносил на целые народы. Такие выродки, как Берия, Гоглидзе, Рюмин, Евдокимов и им подобные типы, садисты и сексуальные маньяки, чьи помощники поставляли в их гаремы для надругательств молоденьких студенток, фабриковали для Сталина неслыханные провокации. Одной из провокаций следовало бы дать такое название: «Заговор мирового еврейства против Советского Союза». Или — «Новые протоколы сионских мудрецов»... Мол, еврейский народ, согласно своим планам, направленным против пролетарской революции, тайно объединился. В этих коварных планах Биробиджан должен служить звеном в цепи большого «заговора» еврейского народа.

Подлые наветы, клеветнические слухи росли как снежный ком: в центре ЕАО, в Биробиджане, «возникло шпионское гнездо», которое превращается в «плацдарм мировой реакции». В результате этого территория ЕАО будет отторгнута от СССР и присоединена... к Соединенным Штатам Америки. Сей подлый «план» был «задуман»

руководителями ЕАК Михозлсом и Фефером, «завербованными еще в 1943 году сотрудниками американской разведки во время их пребывания за границей».

Появление генерала Гоглидзе на «спонтанных» митингах стало верным признаком того, что одними лишь взысканиями, наложенными Маленковым на руководителей Еврейской автономной области в Москве, на сей раз не обойдется.

И вот я в тюремной камере, один из многих обитателей этого мрачного здания.

Сюда меня вели по высоким ступеням и длинным коридорам, через множество камер. Моя первая камера, номер 23, — затхлая коробка, голые нары, высокие стены, крошечное зарешеченное окно, через которое видно лишь клочок серого неба. В углу стоит прикрытое ведро — для естественных нужд. Исследую тюремную камеру, наверное, одну из тысяч в царстве Гоглидзе.

Перед приводом в камеру мне приказали раздеться догола, порылись в одежде, тщательно осмотрели с головы до ног, заглянули в уши, рот и даже в задний проход: не пронес ли я сюда иголку, осколок стекла, ампулу цианистого калия, дабы лишить себя жизни.

И сказал я себе: «Наг я вышел я из чрева моей матери, наг и возвращусь...»¹

Первый допрос

В камере тихо. Никто меня пока не тревожит. Я уже за чертой привычного бытия. Со всех сторон мою душу сжимают тюремные стены. Перебираю в памяти события последних лет. Медленно переношусь в детство и юность.

...Я обучаюсь у рабби Меира Плоцкого, известного цадика, гаона мировой величины, вечная ему память! Он ко мне добр и справедлив. Я купаюсь в святости, которую излучает его ясное лицо. Еще вижу деда, моего дедушку рабби Мордехая-Лейба, который изучает

¹Слова из Книги Иова 1: 20, 21.



Тору с утра и до вечера. Я оставался сиротой при живом отце, которого толком-то и не знал. Растила меня бабушка, и когда она говорила со мной, казалось, будто в мир спускается Шхина¹.

Сквозь толщу стены кто-то стучит ко мне в камеру — звук глухой, но ритмичный, будто чья-то рука выводит на стене для царя Валтасара: «Мене, теке, упарсин». «Исчислено, взвешено, разделено»². Лишь спустя месяцы я выучил эту

тюремную азбуку и часто «беседовал» подобным образом, перестукиваясь с заключенными в соседних камерах.

Я не отвечаю. Напрягся и жду: что же будет дальше?

В эту минуту дверь камеры открывается, входит надзиратель в фуражке МГБ с малиновым верхом и синей окантовкой. У него желтое, одутловатое лицо. Обращаясь ко мне на «ты», он говорит: «Вот тебе глиняная миска, будешь из нее и есть и пить. Спать днем запрещено. Перестукивание запрещено. Подъем в шесть утра. Быть всегда готовым к вызову в кабинет следователя. Мебель не ломать, металлические изделия не прятать. Помывка в бане — раз в неделю. Камеру должен убирать сам и раз в месяц ошпаривать нары горячей водой. Прогулка — ежедневно двадцать минут в тюремном дворе. За нарушение установленных правил — карцер».

¹Шхина — Б-жественное присутствие в мире — фундаментальное понятие иудаизма.

²«Мене, теке, упарсин» — с арамейского: «исчислено, взвешено, разделено». Слова, начертанные на стене таинственной рукой во время пира вавилонского царя Валтасара и предсказавшие от имени Всевышнего, как написано в Книге Даниила, скорую гибель царю и его царству.

Бесстрастно изложив заученные правила внутреннего распорядка, надзиратель удалился. Послышался лязг соседней двери. Вероятно, надзиратель пошел дальше продолжать свою старую песню.

Наступила ночь, я по-прежнему в ожидании вызова к следователю.

Со временем я понял, как нужно вести себя на допросе. Но в первый раз это выглядело довольно странно: ты уже вроде спишь, половина одиннадцатого ночи. И вдруг в железной двери открывается окошечко, через которое подают еду. Чей-то голос называет твою фамилию и инициалы и приказывает: «Одевайся!» Ты моментально одеваешься, и конвойный ведет тебя по длинному коридору, затем вниз по ступеням, в специальное помещение, крошечную низкую камеру, в которой может поместиться лишь один человек, да и то в сидячем положении, так как твоя голова упирается в потолок. Тебя заталкивают в этот глухой «ящик», чтобы ты не мог встретиться с другим арестованным, которого ведут с допроса в свою камеру.

Автомобиль, предназначенный для перевозки заключенных, разделен внутри с двух сторон на небольшие клетки, между ними — узкий проход. В такие клетки арестованных одного за другим запирают на ключ. В машине душно, просто нечем дышать, окна отсутствуют. Часто, если арестант полный, он в такой клетке еле умещается. Заключенные просят хотя бы на минуту приоткрыть дверцу, но сидящий в коридорчике солдат-охранник не реагирует. По тяжелому дыханию и стонам я потихоньку научился узнавать своих попутчиков.

Случалось, что, несмотря на строгий запрет, арестованные чуть слышно перестукивались через тонкую перегородку, узнавая, кого и за какие «грехи» взяли. На обратном пути в тюрьму в машине раздаются стоны измученных, истерзанных на допросах арестантов.

В первый раз все для меня было внове и чуждо. Чтобы вскарабкаться в кузов машины, нужно приложить усилия. Конвоиры орут благим матом: «Давай живей! Следователь ждет!» В это мгновение я вижу мою тюрьму, которая тянется буквой «Г» напротив огромного красного здания, предназначенного для уголовников. Между прочим, это старейшая тюрьма Хабаровска. Тюрьма, где сижу я, новая,

построена по последнему слову техники пленными японцами сразу после войны.

Нас ведут к солидному шестиэтажному зданию, которое растянулось на целую улицу. Сотрудники НКВД приспособили его в свое время под Управление. Здесь — лабиринт коридоров и ступеней. Нас заводят во двор, в котором находится следственный отдел.

Пространство лестничных клеток от перил до стены перетянута металлической сеткой, чтобы никто не мог броситься со ступеней в лестничный пролет и покончить самоубийством.

Меня завели в просторное помещение, комфортно обставленное мебелью, с дорогим персидским ковром на полу. На письменном столе — статуэтки из серебра и латуни и прочие безделушки. В углу, в большой деревянной кадке — высокий, разросшийся вширь фикус, занимающий почти половину кабинета. Просторное помещение освещает шестилампная люстра из граненого хрусталя. Если бы не портрет основателя ЧК Дзержинского и не зарешеченные окна (чтобы, как это бывало, арестованному не пришла в голову мысль выбраться), никогда бы не подумал, что нахожусь в кабинете начальника следственного отдела НКВД.

За письменным столом сидит мужчина в военной форме, с золотистыми погонами полковника. Ему около шестидесяти, недоброе морщинистое лицо. Полковник пытается выдавить улыбку:

— Садитесь, пожалуйста.

После прочтения моего первого обвинительного заключения, которое не являлось окончательным (обычно в ходе следствия этот документ обрастал дополнительными пунктами), я узнал, собственно, то, с чем ознакомился в кратком перечне моих преступлений, который мне зачитали при аресте. Но в этом акте перечень расширился, стало больше деталей.

Я обвиняюсь по статье 58 (контрреволюционная националистическая деятельность), пункт 10, часть 1-я. В обвинительном акте, предъявленном мне в ходе следствия, 1-я часть заменена на 2-ю, предусматривающую наказание до 25 лет, а в военное время — смертную казнь. Мне также приписали пункт 11-й — принадлежность к подпольной группе. Из всех сил я сопротивлялся пункту «б», под-

разумевающему шпионаж, который мне также пытались приписать.

То есть мне было предъявлено обвинение в том, что, будучи «буржуазным националистом», я, гражданин, приехавший из Польши в 1939 году, развернул в Советском Союзе националистическую деятельность. Целому ряду людей, которые известны следствию, я высказывал свои националистические взгляды. Особенно когда говорил о своей деятельности, которую, начиная с 1944 года, я развил в Биробиджане. В свои литературные работы (прозу и стихи) я привносил буржуазно-националистические идеи о единстве еврейского народа, постоянно подчеркивая еврейские моменты во всех событиях и явлениях, распространял ложные слухи о повальном антисемитизме на Украине, ставшем главной причиной отъезда евреев из этой республики в Биробиджан. В годы войны я писал стихи о еврейских партизанах. В общественной работе призывал искусственно насаждать еврейскую культуру в Еврейской автономной области — в то время как нужда в таковой отсутствовала.

Я объяснял начальникам всех следователей, что моя деятельность не была контрреволюционной и что понятие «буржуазный националист» ко мне не может быть применимо. Я доказывал, что, наоборот, вся антиеврейская кампания, которая в последнее время развернулась в СССР, не соответствует положениям советской конституции. Я был красноречив, но, похоже, говорил с глухой стеной.

Полковник меня выслушал, саркастически улыбнулся и сказал:

— Значит, вы настаиваете на том, что все совершенное вами было правильным? Возвращайтесь в камеру и хорошенько подумайте. Идите и думайте. Но прежде напишите автобиографию...

Мой первый следователь

Начальник следственного отдела на первом же допросе предупредил, что дальнейшее дознание будет вести не он, а другой следователь. Начальник должен заниматься крупной «рыбой», а не такими, как я.

Сменивший его следователь оказался офицером в звании подполковника. Высокий, худощавый, с бледным лицом, он страдал от

приступов астмы, постоянно кашлял и задыхался. Вел он себя достаточно корректно, что не вязалось с его должностью. Глядя на этого болезненного человека, я представил, что наверняка у него дома жена и маленькие дети, а сам он вынужден заниматься грязной работой ради заработка. Я пробыл у него на следствии целую неделю, но каждый раз больше сведений узнавал от него, нежели он от меня. Содержание написанных им протоколов соответствовало моим показаниям, ничего лишнего он в них не вносил. Случалось, что мне не нравилось какое-нибудь неточное слово, которое могло сказаться на обвинении. Кашляя, подполковник соглашался со мной и исправлял, а если речь шла о большом тексте, то рвал протокол и писал его заново.

От моего первого следователя я узнал, кто и за что уже сидит. Мне стало известно, что в стране действуют «три гнезда еврейского национализма» — в Москве, Киеве и Минске. Что касается Биробиджана, так это совсем другое, особенное дело, более страшное, так как «в опасности огромная дальневосточная территория». «Биробиджанский национализм» еще более опасен, чем украинский, поскольку на кону стоит государственность великой страны.

Каждый день у моего следователя начинался с 15-минутного молчания. Сажу на стуле, привинченном к полу (чтобы, не дай бог, не мог бросить его в следователя). Внезапно следователь отрывается от бумаг, поднимает глаза и обращается ко мне:

— Следствие показало, что...

Следствие показало, что я был тесно связан с Михоэлсом и что он рекомендовал меня в Биробиджан. Сам же Михоэлс был связан с иностранной разведкой, и следствию известны все явочные места, где проходили наши встречи, вплоть до рюмочных, где мы выпивали и беседовали. Известны даже задания, которые я получил от Михоэлса накануне отъезда из Москвы в Биробиджан.

Следователь показал мне три фотографии, на двух из которых были совершенно незнакомые лица, на третьей — знакомая личность.

— Вы знаете, кто эти люди?

— Не помню.

— Вы бывали в Алма-Ате?

— Бывал.

— Вы знали ленинградского еврея по фамилии Райзе? Так вот, этот Райзе письменно

поясняет: «В 1942 году по поручению органов НКВД я беседовал с Эмиотом. Подтверждаю, что он крупный националист. Среди вопросов, которые он мне задавал, были и такие: знаю ли я, что в 1936 году в Белоруссии были ликвидированы все еврейские школы? знаю ли об аресте многих сионистов? Состоял ли сам Эмиот в сионистской организации, мне неизвестно, но то, что он националист, — это точно...»

На это я ответил следователю: «Михоэлс был советским патриотом и никогда не связывался с вражескими агентами. Михоэлс был и остался великим евреем и великим артистом. Встретаться с ним было для меня огромной честью, он мне тогда посоветовал писать серьезные, правдивые очерки о Биробиджане. Разговоров с ленинградским евреем Райзе за давностью времени припомнить не могу. Мало ли с кем я когда-то говорил, всего не упомнишь. Я мог спрашивать его о чем-то, но это не доказывает, что я буржуазный националист».

Следователь тщательно записывает мои слова. Я читаю протокол, подписываюсь под текстом и меня уводят в тюрьму.

Допрос идет до самого обеда, а вечером — снова допрос, который заканчивается далеко за полночь. Таков режим — допросы дважды в сутки. У моего следователя много вопросов ко мне. На его столе растут кипы бумаг, свидетельствующие о моих «преступлениях».

Каждый раз следователь начинает с одного и того же:

— Следствию известно, что...

Да, следствию известно, что я написал поэму о еврейском народе, передающем свое наследие из рода в род, из поколения в поколение — почти на всех континентах. Следовательно, я проповедовал не интернациональную, а националистическую идею о единстве еврейского народа.

Следствию также известно, что я отрицал превосходство русской литературы, расхваливал зарубежную поэзию, утверждая, что Маяковский ничего нового в литературу не привнес, что до него уже по-

добным образом писали американец Уолт Уитмен, бельгиец Эмиль Верхарн...

Боже мой! Закончится ли вся эта бессмыслица? Или следствие будет продолжаться бесконечно? Будут бить, орать, запрут в карцере? Какой истины они хотят от меня добиться, лишая сна? Из-за допросов на сон остается всего два-три часа. Я стал нервным, близок к умопомрачению, временами в голове мелькают какие-то дурацкие иллюзии — кажется, что вот-вот меня освободят! У них нет улик, чтобы вот так запросто обвинить меня... Господи, за что?

Более всего меня занимала мысль, почему следователь сравнительно хорошо обращается со мной. Странная ситуация: не уловка ли это, не хитрый ли ход? Может быть, следователь мне действительно верит? Хотя вчера он мне открыто заявил:

— Признаетесь вы в содеянном или нет, вас все равно отсюда не выпустят. Следствие обладает достаточным количеством материалов, чтобы предать вас суду. Если признаетесь, наказание будет смягчено. Зависит от того, в какой плоскости пойдет следствие.

Но двенадцать протоколов допросов не могут считаться «достаточным количеством материалов».

...Наступает долгожданное воскресенье — день, когда на допросы не вызывают. С особым удовольствием проваливаюсь в сон, потому что сегодня единственный день недели, когда разрешается эта роскошь. Страшно тяготит одиночество. Мне необходим человек, близкая душа, старик или молодой — не имеет значения, лишь бы было с кем поговорить... Из соседней камеры доносится настойчивый стук. Не совсем еще разбираюсь в этом тюремном языке, сердце подсказывает что-то недоброе, но я гоню прочь черные мысли.

Предчувствие не обмануло меня: в ведомстве бериевского ставленника на Дальнем

Востоке, всемогущего генерала Гоглидзе, так следствие не ведут. Вот уже вторая неделя, как мне поменяли следователя и ужесточили режим. Все по-другому — «доброго» следователя-астматика сменил следователь-садист.

Находясь позже в лагере, мы, испытавшие «прелесть» одиночных камер, грубость и издевательства главного садиста из всех хабаров-

ских следователей, могли уже шутить в адрес этого жирного, зажавшегося типа в погонах. На допросах он не говорил — кричал, после правдивых ответов бросал меня в карцер на пять суток. Этот толсто-мордый субъект был еще и труслив. Во время допроса у него на столе всегда лежал пистолет, и рядом всегда сидел охранник.

Этот выродец по фамилии Озирский отличался изощренными способами издевательств над подсудимыми — недаром его так высоко ценил сам Гоглидзе. На допросах Озирский сразу шел в психологическую атаку: он собрал все мои телеграммы, письма, личные и служебные, которые я посылал из Биробиджана в Москву, будучи корреспондентом газеты Еврейского антифашистского комитета, и теперь использовал их против меня.



Озирский, сатрап из МГБ

Хабаровский следователь Озирский похвастался, что прежде чем взяться за мое дело, он прочитал аж тридцать книг о евреях и всех проблемах, связанных с ними. Но, судя по тому, как он вел следствие,

я убедился, что в еврейских делах он полнейший профан. Да, он выучил цитату из книги нацистского идеолога Альфреда Розенберга «Миф XX века» о том, что «евреи имеют два отечества — Палестину и Биробиджан», и нес всякий нацистский бред, дабы показать свою осведомленность. Однажды некий еврейский писатель¹ здорово подвел этого следователя — «помог» Озирскому составить протокол, в котором указывалось, что Шолом-Алейхем был... графоманом. Другого способа насолить Озирскому у того еврейского писателя, естественно, не было, и хотя бы таким образом он выставил следователя на посмешище перед начальством. «Протокол с Шолом-Алейхемом так бы, наверное, и остался в деле, — рассказывал потом еврейский писатель, — если бы помощник Озирского не спохватился, что дело здесь нечисто...»

Упомяная еврейских писателей, Озирский всегда добавлял к их именам уничижительные эпитеты, привешивал опасные ярлыки. Выглядело это так: «враг народа» Дер Нистер, «враг народа» Фефер, «матерый националист» Михоэлс и т. д.

До сих пор мне невероятно трудно вспоминать физические и моральные страдания, которые я испытал в ходе следствия по вине этого негодяя. Иной раз я не сдерживался — спорил с ним, пререкался, за что он меня сразу сажал в карцер. Четыре раза по пять суток я находился в темной мрачной камере, в которой на сутки полагалось лишь триста граммов хлеба и кружка воды. Если я не поддавался давлению Озирского, то это происходило не столько по причине моей отваги, сколько из-за отвращения к этому сатрапу. То, на что не пошел предыдущий следователь, сделал Озирский, объявив меня шпионом.

Оказывается, все мои письма, корреспонденции, отправляемые из Биробиджана, были написаны мной таким образом, чтобы ими могла пользоваться иностранная шпионская сеть.

Он никогда не обращался ко мне на «вы»:

— Ты делал свою работу очень умело, по-хитрому, но для этого

¹Эмиот не называет его имя. Вероятно, это один из фигурантов «Биробиджанского дела».

имеется контрразведка, которая расшифрует твои донесения.

И тут всплывает целая история с почтовым пакетом.

На одном из допросов он вытащил из сейфа большую бандероль и показал ее мне.

— Ты узнаешь этот пакет?

Конечно, я узнал этот пакет. Вся биробиджанская почта из-за этого пакета ходила ходуном.

Как-то по поручению московской «Эйникайт» я должен был подготовить две газетные полосы под общим заголовком «Соревнование двух городов». Дело в том, что дальневосточные города Биробиджан и Благовещенск вступили между собой в соцсоревнование: кто из них впереди по благоустройству. Согласно показателям, по части озеленения городских улиц лидировал Биробиджан. Следует сказать, что среди всех городов Дальнего Востока Биробиджан выделялся огромным количеством высаженных деревьев и кустарников, аллей в парке и скверах, обилием цветочных клумб. В озеленении Биробиджана отличился некто Штейн, еврей, приехавший еще в начале тридцатых годов из Америки и сотворивший чудеса на доверенном властями поприще.

Чтобы сделать репортаж о соревновании двух городов, я съездил в Благовещенск, который находится на границе с Китаем. Вероятно, моя поездка в приграничный город и вызвала подозрение у органов госбезопасности. Лишь река Амур разделяет русский Благовещенск и маньчжурский город Сахалин². Я взял интервью у председателя горисполкома и нескольких других чиновников, сделал фотографии с видами города. То же самое, готовя материал, я затем проделал и в Биробиджане. Две полосы в «Эйникайт» получили простой заголовок: «Соревнование двух городов».

Текст репортажа с фотографиями я вложил в большой конверт и отправил авиапочтой по назначению. Но редакция «Эйникайт» почему-то эту бандероль не получила. Тогда я отправил телеграмму

²Сахалин (с 1980 г. — Хэйхэ) — город в Китае, расположенный напротив Благовещенска через реку Амур. В настоящее время являются городами-побратимами, связаны речным сообщением.

министру связи, и по всей авиалинии Хабаровск — Москва начались поиски пропавшей бандероли. Искали в Биробиджане и во всех промежуточных аэропортах и почтовых отделениях, то есть везде, где самолет совершал посадку.

И вот эта бандероль лежит на столе у моего следователя. Он листает страницы моего репортажа, разбираясь в написанном, как свинья в апельсинах, и торжествует:

— Вот видишь, от нас ничего нельзя спрятать. Даже конституция, гарантирующая тайну личной переписки, тебе здесь не поможет... Знай: наши органы стоят выше закона!

Ах, да, еще эти фотографии с видами пограничного Благовещенска — будь они неладны...

— Ты делал фотосъемки секретных объектов.

— Городской парк — секретный объект? — наивно спросил я. Каким же идиотом я оказался, когда искал справедливости у Озирского! Сходу он «пришил» мне новую статью: «контрреволюционная деятельность, совершенная группой лиц».

По версии Озирского, дело происходило таким образом, будто я состоял в «контрреволюционной связи» с семью местными жителями. Но с названными лицами я не встречался вообще. Не то что с ними слова не молвил, но даже близко возле них не стоял. Но логика Озирского была железной: «Ты состоял в преступном сговоре с антисоветскими элементами, которые, в свою очередь, были связаны с другими такими же людьми, с которыми ты не мог быть не связан, — а это уже группа, коллектив».

Допросы этого садиста стоили мне огромных душевных сил и здоровья. За то время, что он надо мной физически и морально издевался, я почти превратился в калеку.

Один еврейский писатель, которого я позже встретил в лагере, поведал, что и его «родной» следователь над ним так же издевался. Этому писателю накануне ареста была сделана операция по удалению желчного пузыря, незажившая рана открылась и гноилась. На одном из допросов следователь в звании полковника пнул его сапогом в живот.

Другой еврейский писатель, пожилой человек, со слезами на гла-

зах рассказывал, как следователь во время допроса пытался его «опустить», принуждая к извращенным половым действиям.

Способы и методы пыток у следователей были разные. У Озирского излюбленным методом было психологическое давление на жертву. Он лишал сна, не давал возможности полностью использовать 20-минутную прогулку в тюремном дворе, часто бросал меня в карцер, где сновали мыши, и пока ты не научишься справляться с безразличностью, бегаешь от этих тварей в подвальном мраке, словно помешанный. Я даже научился кормить мышей с рук, делясь с ними частью скудного хлебного пайка, который мне выделяли раз в сутки.

Я научился сдерживать чувства, чтобы не наброситься на следователя, словно свирепый тигр, как это чуть не произошло в первый раз, когда он подозвал меня — после пяти суток пребывания в сыром подземелье — к столу, уставленному всевозможными блюдами и, поиезуитски ухмыльнувшись, произнес:

— Ну как, долго еще будешь артачиться? Признайся в своих злодеяниях, и мы заживем в мире и согласии.

Со стола я ничего не взял. До боли прикусив губы, молча исходил ненавистью. Но вот пришел момент, когда мое терпение лопнуло и вылилось через край в бурный протест.

Это произошло посреди ночи. На одном из допросов Озирский, сидя за столом, стал болтать по телефону со своими «красавицами». Уставший, измученный бессонницей, я попросил, чтобы он дал указание конвою отвести меня в камеру — час-другой поспать до подъема.

— Поспишь после приговора, в могиле будет твоя постель!

Я бросился к нему, но в лоб мне уперся пистолет, и стоявший рядом конвойный скрутил мне сзади руки. Я решил: будь что будет, но на допросах у Озирского сидеть больше не буду. И слово свое сдержал.

Избавление от этого садиста мне дорого обошлось. Я написал несколько заявлений начальнику следственного отдела с просьбой выделить другого следователя, но на это — никакой реакции. Я был в глубоком отчаянии, истощен морально и физически, от постоянного недосыпа нервы были на пределе. От того, что приходилось лежать на голом полу карцера, ломило в костях, болел позвоночник.

Я перестал есть. Прошел один день, второй. Мне стали угрожать,

что будут насильно вводить пищу с помощью резиновой трубки прямо в нос.

— У нас в такие игры не играют! — разъяснил мне начальник тюрьмы, которого по этому случаю вызвал охранник. Оказывается, на третий день отказа от пищи арестованного кормят искусственным образом, насильно.

Медсестра из тюремной санчасти вручила мне успокоительные таблетки и несколько раз обещала вызвать врача. Но ждал напрасно — докторша появлялась в тюрьме лишь раз в неделю, и то в составе инспекции. Бросит взгляд на арестованного и идет дальше.

Я умолял медсестру:

— Мне ничего от вас не надо, прошу лишь одного: пусть мне заменят следователя. И еще пустяк, который спасет мое психическое состояние — помогите выбраться из одиночки. Мне необходимо присутствие рядом какого-нибудь человека, с которым я мог бы перемолвиться словом, иначе здесь сгину от тоски и одиночества.

Тюремная докторша тоже носит на плечах майорские погоны МГБ с синими просветами, и черт знает, что она здесь вообще делает. Будучи врачом, должна оказывать помощь, но помощи от нее, как от холодной воды, которой обливают арестанта, измученного пыткой, чтобы он был готов к новому допросу и дальнейшим мучениям.

Однажды услышал ее голос в коридоре — что-то непонятное происходило там: чьи-то быстрые шаги, тревожный разговор. Наверное, очередной приход начальства, — подумал я. Спустя некоторое время после одиночки, находясь в большой камере с такими же, как и я, бедолагами, я узнал, что в соседней камере кто-то покончил с собой. Вскоре мне самому пришлось сидеть в той камере, бетонный пол которой еще не был отмыт от крови.

Внезапно меня охватило странное желание что-то сделать с собой, но, право, это не такое уж легкое дело. «Глазок» в двери открывается почти ежеминутно, и охранник наблюдает за каждым твоим шагом.

При себе у меня металлических предметов не было, даже железные пуговицы с одежды были предусмотрительно срезаны перед тем, как я переступил порог тюрьмы. Используя момент, когда охранник разносил еду, я выбил кусок стекла из окошка, расцарапав руки.

С огромным усилием я вытащил этот осколок, так как стекло было переплетено внутри тонкой проволокой. Тут же попытался отыскать у себя на руке вену, но попадал лишь на плотную мышцу. Кровь текла, но опасности для жизни не было. Внезапно в камеру вломился охранник, молниеносно выбил из руки окровавленный осколок стекла и по тревоге вызвал начальника тюрьмы с врачом.

Понятно, что не за мою жизнь они испугались, а за свои должности. Тюрьма обязана содержать арестованного в целости и сохранности до окончания следствия. Врач же должен поддерживать в должной степени жизнь и здоровье каждого заключенного, всегда быть на чеку, потому что подобных происшествий в тюрьме происходит немало. За такие случаи тюремное начальство наверняка получает строгие взыскания. Так что наши жизни представляют определенную ценность.

Мне быстро забинтовали руку и перевели в другую камеру — на две персоны.

Мой первый сосед — молодой матрос

Едва войдя в камеру и не успев толком оглядеться, я с порога услышал:

— Здравствуйте!

Бледное худощавое лицо с пылающими черными глазами, нежные черты хрупкого юноши-ешиботника из прошлых времен. Если прилепить к нему пейсы, надеть хасидскую шляпу, то пред тобой окажется вылитый Ханан, один из главных персонажей пьесы «Дибук» Ш. Ан-ского¹. Но юноша не был ни ешиботником, ни даже студентом. Простой русский парень, двадцатидвухлетний матрос.

¹ Ш. Ан-ский (Шлоймэ-Занвл Раппопорт, 1863, Витебская губ. — 1920, Варшава) — еврейский писатель, драматург, фольклорист, общественный деятель. «Дибук» («ha- Дибук» — бес, оборотень) — знаменитая пьеса, Ш. Ан-ского первоначально написана по-русски и затем переведена им же на идиш. На иврит переведена Х.-Н. Бяликом и поставлена в Москве (1922) театром «Габима».



Целую неделю мы «квартировали» с ним в одной камере. Согласно тюремным правилам, арестантов в одной камере вместе долго не держат. Дабы слишком не перезнакомились и не задумали что-либо непотребное — например, побег.

Изголодавшийся по человеческому общению, уже в первый день я поделился с ним своими переживаниями за последние месяцы и от всего сердца выговорился. Новичком по части отсидки он не был: хабаровская тюрьма у него на счету была уже третьей — с того дня, как его арестовали во Владивостоке. Он уже освоил тюремную науку: может перестукиваться через стенку, знает всех здешних следователей. Кроме того, он передал мне привет от нескольких биробиджанских товарищей, которые томятся в этой же тюрьме и о которых мне ничего не известно. Наверняка их арестовали в то же время, что и меня. Но если ты не овладел азбукой Морзе, то весьма проблематично узнать, кто еще находится в этом огромном узилище.

— Поверьте, совсем скоро, — заверил меня сосед, — вы избавитесь от своего мучителя Озирского; вам назначат другого следо-

вателя, так как тюремное начальство очень боится самоубийств. До окончания следствия вы им нужны целым и невредимым.

Мой новый знакомец был голоден, и я отдал ему свою пайку хлеба. Сам я был настолько подавлен, что есть не мог. Голодный как волк, сокамерник набросился на хлеб. При аресте у него отобрали несколько тысяч рублей, права пользоваться своими деньгами у него не было — только с разрешения следователя. Можешь иметь деньги, но если твой следователь не разрешает пользоваться ими, то в тюремном киоске ты ничего не купишь, даже пачки махорки и спичек.

Мой сосед рассказал весьма удивительную историю своего ареста. Вместе с ним забрали еще шестнадцать матросов с военного катера-тральщика, вылавливающего мины в пограничной зоне. Морьякам выдвинули обвинение в том, что они готовили «бунт на корабле», точнее, на катере, планировали убить капитана и увести судно из Порт-Артура, который в 1945 году советские войска освободили от японцев, в китайский порт Дайрен (Дальний), уже не контролируемый Советским Союзом. Со слов матроса, вся эта история была не более чем юношеским озорством, не стоила и выеденного яйца, и никакого плана, разумеется, не существовало. Так, поговорили между собой, почесали языки, тут же и забыли. Сам капитан был хороший человек, пользовался уважением среди личного состава, и никто из экипажа против него ничего не имел.

Но среди членов экипажа нашелся доносчик, благодаря которому эта история стала известна органам НКВД. 19-летних комсомольцев арестовали и приписали статью 58-1, пункт «б», что означало «измена Родине» (за это деяние полагалась смертная казнь). Также этой группе приписали пункт 11-й (организованная контрреволюционная группа), что еще более ужесточило наказание. Юному матросику добавили еще один обвинительный пункт — 10-й (антисоветская пропаганда).

Капитану до глубины души было жалко своих неразумных подчиненных, но что-либо изменить было уже не в его силах.

Долго я не мог понять, откуда у ленинградского комсомольца, окончившего советскую школу, позже — мореходное училище, которого все годы воспитывали в советском духе, взялись эти страшные

статьи — «измена Родине» и «контрреволюционная деятельность»?

Подоплека этой истории такова.

После нескольких лет плавания в водах Тихого океана, один из лучших матросов команды сторожевого катера получил отпуск домой, в белорусскую деревню.

Его отец погиб на войне, и мать, простая колхозница, должна была содержать дом, кормить детей. Приехав в родной колхоз, матрос (назовем его Шутков) повзрослевшими глазами увидел условия, в которых работают колхозники: трудодни с мизерным вознаграждением в виде ежедневных двухсот граммов хлеба и немного картофеля с капустой. К тому же, чрезвычайно высокие налоги, которыми государство обложило колхозников. Его 16-летнюю сестренку, пытавшуюся уехать в город, чтобы устроиться на фабрику, из деревни не выпустили. Крестьяне, словно крепостные, буквально привязаны к колхозу и его председателю. Поняв это, Шутков поехал в Москву, к Николаю Швернику, тогдашнему председателю Президиума Верховного Совета, чтобы рассказать ему о положении в колхозах, но тамошние чиновники не захотели его принять. Обескураженный всем этим, Шутков вернулся домой. Тяжелое, унижительное положение колхозников стало буравить его сознание, заставило пересмотреть отношение к «отцу и учителю всех народов» товарищу Сталину. Шутков, вернувшись из отпуска на катер, поделился своими мыслями с другими матросами, в числе которых был и мой сокамерник. Крамольные мысли, высказанные интеллигентным парнем, повлияли на сознание некоторых моряков. А сам Шутков стал тайком слушать зарубежные радиопередачи на русском языке и окончательно разуверился в том, о чем пишут советские газеты и журналы.

Находясь с матросом в одной камере и общаясь с ним, я почувствовал, что мои страдания улетучились, на душе стало намного теплей. Вроде бы пустяк: в пространстве, очерченном четырьмя серыми стенами, появился человек, еще одна живая душа; в помещении теперь не только бездушный тюремный инвентарь — деревянные нары, лежа на которых я в моих болезненных иллюзиях часто вспоминал лица моих близких и знакомых. Из-за этих постоянных миражей, страшных мыслей и разговоров с самим собой я был на грани безумия.

На допросы пока что меня не вызывают. Незначительная рана, которую я нанес себе, пытаюсь вскрыть вены, медленно, но заживает.

Рука уже не так болит, как раньше, и в какой-то момент мне кажется, что все не так плохо. Рядом со мной матрос — приятный, интеллигентный собеседник. Он отлично помнит наизусть роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин», декламирует это произведение на сон грядущий и утром, начиная с подъема. Он также помнит и рассказывает подробно содержание произведений русских классиков. Став в тюрьме знатоком советской юриспруденции, он разъяснял мне юридические аспекты моего дела, хитрые ходы и разные уловки следователей.

— В любой день, — просвещал он меня, — вас снова могут вызвать к следователю. А оставили вас в покое лишь на короткое время — из-за попытки самоубийства. В одиночестве вам сейчас уже пребывать не дадут, каждый раз будут переводить из одной камеры в другую. В тюрьме, знаете ли, попадают очень интересные личности и, если вы с ними найдете общий язык, то помаленьку уйдет тоска и исчезнут душевные муки. Это вам не одиночная камера.

Он выучил меня азбуке Морзе, посредством которой арестованные общаются, перестукиваясь через стенку смежных камер. Он же научил добывать огонь, катая вату по бетонному полу — действия, столь необходимые, когда находишься за решеткой.

Мое следствие, длившееся, казалось, без конца, обросло новыми деталями. На допросах сразу пять следователей бросались на меня в жесткую психическую атаку, ссылаясь на письменные показания неких свидетелей, которые подтверждали мои «националистические взгляды». Я понимал всю трагичность ситуаций, при которых появлялись подобные заявления. Не раз эти так называемые свидетели рыдали потом на следствии, требуя аннулировать выбитые из них прежние показания. Их страшали, что привлекут к ответственности за преднамеренную дачу ложных показаний — лжесвидетельство, — а это еще одна серьезная статья. Когда я заявил об этом следователям, то за свою дерзость получил сутки карцера. В отношении меня режим ужесточился, но в «одиночку» больше не сажали. Стоит только привыкнуть к одному гиблому месту, так меня переводят в другое...

Несмотря на трагизм положения, страдания и полную безнадегу, понемногу привыкаешь к этим гиблым местам. Сидишь в одной камере с такими же, как и ты, бедолагами, беседуешь с ними в свободное от допросов время и видишь, насколько жизнь многообразна, изучаешь различные характеры и делаешь выводы... Часто перестукиваемся с соседями через стену и узнаем, что происходит с нашими «делами». Горячо обсуждаем тему, касающуюся доносчиков, или, как их здесь называют, сексотов. Как только в камере выявляется подобный тип, о нем вскоре узнает вся тюрьма, и расфасованные по камерам арестанты начинают предпринимать меры предосторожности.

Еврейский «переводчик» и японские генералы

Мои следователи убедились: «шпионаж», который хотел повесить на меня Озирский, не годится даже для такого типично состряпанного «дела», как мое. И совсем не потому, что я не шел на уступки следствию (это мало помогало), а из-за того, что при столь медленном ходе следствия по-прежнему нет даже веских доказательств моей вины, — лишь показания липовых свидетелей. Очевидно, что меня все-таки будут судить, хотя следствие и поубавило скорость, и меня гнобят с меньшим усердием. Но мой «национализм» «отчетливо» показан «свидетелями» и кучей фальшивых документов, представленных следователями. Но все же я полагаю, что мои действия нельзя классифицировать как преступление, подпадающее под статью 58-ю. Пытаюсь себя убедить, что эти действия входили в мои трудовые обязанности, но следствие настаивает на своем.

К примеру, следствие считает, что я охаивал советскую Украину, утверждая, что там существует антисемитизм. «На Украине, — говорит мой следователь, — не может быть антисемитизма хотя бы потому, что там советская власть, которая против этого явления...» Каждый вызов на допрос — лишь повторение, новые вариации старых: где-то обнаружили еще одно мое стихотворение, нашли еще какую-то статью или заметку «националистического толка».

Мои стихи на русский язык переводил капитан МГБ, еврейский парень из Биробиджана, который, вернувшись с фронта, после неудачных попыток на литературном поприще стал внештатным переводчиком в этом ведомстве. Сначала он цинично поинтересовался, удовлетворяют ли меня как автора его переводы? Ехидно улыбаясь, добавил, что, по его мнению, каждый толковый еврейский поэт хотел бы иметь такого переводчика, как он. Я уже привык проглатывать подобные горькие пилюли и, когда мне показали постановление специальной комиссии, которую МГБ назначило из хабаровских русских писателей, я уже не был столь удивлен и взволнован. На основе изученных литературных материалов комиссия «действительно установила», что все труды биробиджанских писателей являются буржуазно-националистическими.

Гораздо позже мне стало известно, что подобные комиссии были организованы в Киеве, Минске и Москве. Пытаясь придать масштабному еврейскому погрому видимость чистой работы, МГБ при своих амбициях стремилось еще заполучить одобрение писателей. К этому пишущих людей принуждала обстановка в стране — страх и террор.

Я уже не удивлялся, когда мне зачитали бумагу, в которой Дер Нистер (вечная ему память!), один из самых светлых и прекрасных советских писателей, сам себя оговорил, заявив, что является прародителем еврейского национализма. За долгие тюремные месяцы я уже достаточно неплохо узнал методы работы МГБ.

К поведению тюремных охранников я уже привык и знал, кого и как из них можно провести, чтобы хотя бы немного вздремнуть днем. Наша общая хитрость заключалась в том, что во время игры в домино каждый из сокамерников по очереди, сидя спиной к дверному «глазку», дремал по десять минут.

Как я уже говорил, заключенных часто переводили из одной камеры в другую.

Однажды меня определили в просторную чистую камеру, в которой были деревянные лежаки на пять человек. Неожиданно моему взору предстали три японских генерала в своей амуниции. Старший из них — низкорослый, полноватый, с белой седой бородкой, спросил меня по-немецки, кто я такой и откуда. И тут же отреккомендовал-

ся: генерал-полковник Усуруфу. Он представил также своих коллег: генерала артиллерии и генерал-майора авиации. Оказалось, длительное время генерал Усуруфу занимал пост военного атташе в посольстве Японии в Берлине. Он отлично владел немецким языком, ко мне был настроен приязненно, и уже в первый день рассказал о себе.

В годы Второй мировой войны Усуруфу был заместителем генерала Отодзо Ямады, командующего Квантунской армией¹, дислоцированной в Маньчжурии, на границе с Советским Союзом. В результате победы над Японией много вражеских генералов было взято в плен советскими войсками. В специальном лагере для военнопленных, размещенном в Хабаровске, их содержали довольно неплохо, кормили по генеральской норме.

Когда в Хабаровске начался знаменитый процесс над группой военнослужащих Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия, семнадцать генералов во главе с Ямадой были арестованы и заключены в тюрьму, в которой пребывали уже не как пленные генералы, а как военные преступники.

Японские генералы вели себя доброжелательно, играли со мной в домино, шашки, лепили из хлеба фигурки для игры в шахматы. Два других генерала говорили только по-японски и по-английски, но мы понимали друг друга через их старшего — генерала Усуруфу.

Последний рассказал о предъявленном ему обвинении: якобы еще в двадцатых годах, во время японской интервенции на Дальнем Востоке, он устроил кровавую расправу над советскими партизанами в Чите.

¹ Квантунская армия под командованием генерала Отодзо Ямады в ходе маньчжурской операции советских войск потеряла около 84 тысяч солдат и офицеров, свыше 15 тысяч умерли от ран и болезней на территории Маньчжурии, около 600 тысяч чел. попали в плен. Процесс над группой японских военных Квантунской армии проходил в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года. Им вменялось в вину нарушение Женевского протокола 1925 года — создание в Квантунской армии спецподразделений по заражению людей, в т. ч. советских военнопленных чумой, холерой, сибирской язвой и др. бактериологическими заболеваниями. Вина всех обвиняемых была доказана, но к высшей мере никто не был приговорен, так как смертную казнь в СССР отменили указом Президиума Верховного Совета от 26 мая 1947 года.

— Я всего лишь солдат, — оправдывался Усуруфу, — выполнял приказ, разве я виноват?

По этому поводу в длинные дискуссии я с ним не вступал, здесь мы оба зэки и одинаково считаемся преступниками. Генерал продолжал рассказывать мне про свой великолепный дом и ухоженный двор с прислугой из двадцати человек, о своих сыновьях — высокопоставленных армейских офицерах. Следует заметить, что помимо улучшенного пайка, у генералов был облегченный режим: они могли спать в дневное время, их не заставляли заниматься непотребным делом — выносить парашу или обливать горячей водой деревянные нары, избавляясь от клопов. У командующего Квантунской армии генерала Ямады была даже отдельная обслуга, и возле его камеры всегда стояла специальная охрана.

Спокойную жизнь нашей камеры нарушил новый арестант. Это был предводитель воровской шайки по имени Володя. Долговязый крепыш с интеллигентным лицом, в добротном синем костюме и черных лакированных башмаках. Войдя в камеру, он сходу представился:

— Володя, русский человек, — и, ткнув указательным пальцем в сторону японцев, ехидно улыбнулся и спросил: «А что здесь делают эти фашисты-самураи?»

Позже из наших бесед я узнал, что его брат, полковник Красной армии, в 1938 году погиб в бою с японцами на озере Хасан. Отсюда и его личная неприязнь к японским генералам, которым он в камере стал отравлять жизнь.

В одной из бесед Володя поведал мне свою историю.

«Философия» советского вора

С 13 лет Володя рос без отца. Будучи беспризорным, он подружился с подобными себе и сутками ошивался на вокзалах, занимаясь мелкими кражами. Несколько раз его ловили, и он отбывал наказание в исправительных учреждениях, колониях для малолетних преступников. Когда Володя подросток, ремесло простого карманника ему

надоело, и он взялся за более крупные дела. Для маскировки днем он трудился токарем на мебельной фабрике и числился одним из лучших рабочих. Начальство не могло на него нарадоваться и выдвинуло его кандидатуру на должность бригадира. Но еще способней он оказался на «ночной работе» в качестве «бригадира» шайки воров. Эта «бригада» в течение нескольких лет успешно грабила ювелирные магазины, банки и сберкассы, склады с мануфактурой и т. д.

— Свою работу, — объяснял мне Володя, — мы делали тонко, с умом, без особой бравлады и применения силы. Мы честные воры и кровопролитие ненавидим. Завалить сторожа не проблема, но куда сложнее проделать всю работу без крови. А для того есть много разных способов. Например, можно уговорить или подкупить сторожа. Или перед закрытием зайти в магазин и, схоронившись в закутке, остаться там на ночь. Чтобы бесшумно взломать кассу, необходимы опыт и сноровка.

Володя и был из таких специалистов. Дневная работа на фабрике служила ему прикрытием, отличным алиби. Кроме того, попавшийся на краже член шайки никогда ни при каких обстоятельствах не выдавал товарищей, сознавая, что его неминуемо настигнет не просто горькая участь, а смерть, если выдаст подельников. При этом любому заключенному известно, что в тюрьме или на зоне он не будет одинок, — друзья, оставшиеся на воле, в беде его не оставят, будут всячески помогать во время отсидки.

Хабаровская милиция была неплохо осведомлена о воровской шайке и ее вожак, но, чтобы схватить, арестовать и, тем более, судить Володю, улик не хватало. Поэтому милиция придумала западню.

Восьмого марта, когда по всей стране отмечали женский праздник, Володя отправился вместе с фабричными женщинами гулять в хабаровский порт, в так называемый «Затон». Там ему подсунули завербованную девицу, которая охотно провела с ним время, а потом заявила, что Володя ее напоил и изнасиловал.

Но и тут парень предъявил алиби: одна из его девиц засвидетельствовала, что ту самую ночь он провел с нею.

Казалось бы, Володя выкрутился. Но один из его подельников по неосторожности ляпнул на следствии лишнее, что не пошло на поль-



зу Володе. Когда до него дошло, что сболтнул не то, он выхватил свой протокол допроса из рук следователя и порвал на мелкие куски. «У нас, у воров, — растолковывал мне Володя воровские порядки, — в кошки-мышки не играют. Следователь нас сам боится».

Как-то раз один следователь спросил Володю, правда ли, что воры, выйдя на свободу, мстят своим следователям? Володя этот слух не просто подтвердил, но и заявил, что с усердных «следаков» живьем сдирают кожу. От этих слов лицо у следователя стало белым, как очищенный картофель.

Руководство тюрьмы к Володе благоволило, всячески выказывая ему особое уважение. К примеру, если с воли политэзку передают посылку, то во время ее досмотра содержимое выворачивают наизнанку. Даже буханку хлеба разрезают на куски: не спрятана ли там записка или еще что-нибудь недозволенное. К Володе посылки приходили целыми и невредимыми — контроль их не касался. Но если он замечал, что в посылке рылись чьи-то руки, начинал стучать в дверь и материл тюремное начальство на чем свет стоит.

Володя по натуре своей был добрым человеком. Никогда не садился есть в одиночку, всегда делился со мной продуктами, полученными с воли. «Воровской закон, — просвещал он меня, — запрещает

профессиональному вору есть вместе с обыкновенным человеком. Но ты ничего, нормальный старикашка...»

А «нормальным» у него я выглядел из-за того, что выдержал ответственный «эзковский экзамен».

Однажды, перестукиваясь, Володя связался с арестованными девушками и сообщил, что завтра на прогулке он перебросит им шелковый платок через ограждение рядом с наблюдательной вышкой. Местом для нашей короткой прогулки служила небольшая площадка, разделенная в виде креста четырьмя стенками и окруженная огромной бетонной стеной. В этих отсеках одновременно прогуливались арестанты из четырех камер, и Володя изловчился и перебросил платок; охранник с вышки заметил лишь летящий в воздухе предмет, но кто его перебросил, он не знал. С вышки ему показалось, что платок перебросил я...

По возвращении с прогулки меня задержал конвойный и зло прошипел: «Старый хрыч, а туда же лезешь — девкам платки даришь...»

Я уже знал железные правила тюрьмы: если тебя поймут за дело, в котором твоей вины нет, но знаешь точно, кто в нем замешан, «закладывать» виновного ни в коем случае нельзя. Разумеется, Володю я не выдал, и охранник мне прямо заявил, чтобы я готовился в карцер. История завершилась следующим образом: девушек вызвали к начальнику тюрьмы, и те клятвенно заверили, что шелковый платок в собственности одной из них находится уже давным-давно, а охраннику, видать, показалось, или просто-напросто он клеветает на пожилого человека. К счастью, в карцер меня не отправили. Володю восхитил мой поступок (по понятиям воровского мира я принял огонь на себя), и потому он стал мне доверять.

Володино сердце

Пользуясь приобретенным авторитетом, я попросил Володю, ставшего теперь моим другом, чтобы он помягче относился к японским генералам-сокамерникам.

— Считаю, что в тюремной камере эки должны вести себя по-

рядочно по отношению друг к другу, а счета сводить нужно на воле, — сказал я.

— Но они же фашисты! — ответил Володя.

— Для вас я тоже фашист, политзаключенный, — сказал я.

— Ты... наш фашист, а они — чужие фашисты...

— Но ведь ты, Володя, — пробовал я сыграть на другой струне, — тоже не совсем порядочный советский человек, раз ворует у государства.

— Да, я вор! Но я — советский вор! — объяснял Володя. — Я не против советской власти. А то, что ворую, так наше государство достаточно богато!

Трое японцев пытались мирно сосуществовать с Володей в одной камере, великодушно простив ему все нападки и оскорбления в их адрес. Угощали хорошими сигаретами, но подкупить ничем и никак не могли. Все равно он всячески пытался им напакостить. Как-то, во время игры с ними в шахматы, он шепнул: «Сейчас ты увидишь, на что я еще способен. Хотя это не мой профиль — я давно уже не карманный вор и такими мелочами не занимаюсь, но кое-что помню».

И тут он продемонстрировал свои навыки: все содержимое генеральских карманов быстро переключало в его руки. По моей просьбе он вернул все их имущество, но от моего взгляда не ускользнуло, что была ущемлена их самурайская гордость; их лица под маской внешнего добродушия и спокойствия вспыхнули. Японцы даже пожаловались на своего обидчика следователю. Тот вызвал Володю и предупредил: если он действительно советский патриот, то должен жить по-хорошему с японскими генералами, поскольку следствие очень важное и нуждается в их показаниях.

Но Володя стоял на своем:

— Заберите их отсюда или переведите меня в другую камеру!

Появился начальник тюрьмы и пригрозил Володе, что наденет на него наручники.

— Да пошел ты! — рассвирепел Володя.

— Вот обнаглел! Но мы и не таких успокаивали!

— Я им горло перережу, и ты за это ответишь! — хладнокровно пригрозил Володя начальнику.

Володя добился своего: его перевели в другую камеру.

Японцы сразу ожили и воспряли духом, хотя содержать в тюрьме их стали хуже. Следствие у них закончилось и их перестали баловать пищей. Они получали ту же пайку, что и остальные заключенные. Из их рациона исчез рис, осталась лишь каша — овсяная или пшенная.

Старый генерал Усуруфу ворчал: «Пшенка, пшенка...»

Ничто так не угнетало старого генерала, как то, что судья не позволил явиться на судебное заседание в полной амуниции и желтых блестящих сапогах с плотными голенищами:

— Это все так унижительно, — не мог успокоиться генерал, — так мерзко!

Судебные заседания в отношении японцев длились несколько дней подряд. Каждый раз генералы возвращались в камеру пунцовые и вспотевшие, ничего не ели, жалуясь на расстройство желудка. Извинялись предо мной за то, что столь часто занимают «парашу». Генерал Усуруфу перестал учить меня японскому языку по своей особой методе, больше не мудрил над шахматной доской. С каждым разом он становился все печальней и все время интересовался, работают ли в лагере его ровесники — те, кому исполнилось 66 лет. Два других генерала, средних лет, находились просто в замешательстве. Они считали, что еще сравнительно молоды, но судьбы их предрежены: их ожидает каторжная работа. Тревоги японцев были не напрасны: генералы получили по 25 лет каждый, и если они не сгинули в лагерях, то, скорее всего, их освободили позже согласно советско-японскому договору, и те пакости, которые им в тюрьме устраивал Володя, должны были казаться им сущей мелочью по сравнению с каторжной жизнью. Каждый из них запомнит все подлanky, которые устраивал Володя-вор им в тюрьме.

Я помню день, как мы прощались с Володей. Прежде чем покинуть камеру, он мне сказал:

— Я передаю тебе пароль. Все воры, если они «честняки», то есть люди, которые блюдут воровской закон, узнав, что ты сидел с главным вором Хабаровска по кличке Керя, тебя не только не тронут, но и будут охранять от всяческих пакостей.

Гораздо позже, будучи недолго в Иркутской пересылке, я оказался в воровской банде. Сначала они зажали меня в угол и пытались ото-

брать ботинки. Но как только я сообщил им, с кем сидел в одной камере, старший воровской шайки сразу определил мне лучшее место в камере и дал всем наказ, чтобы ко мне относились как к родному. От этих парней я узнал, что Володя вышел на волю. Милиция на сей раз не смогла оставить опытного преступника в своих лапах — как всегда, не хватило улик...

А конца моим несчастьям даже и не видно. Следовательно, уверявший меня с самого начала, что «отсюда никто на свободу не выходит, прав обвиняемый или нет», не соврал. В течение года, что я провел в Хабаровской следственной тюрьме, не припомню, чтобы кто-нибудь обошелся без приговора; лишь очень немногие были осуждены трибуналом, большинство же получили «срока» заочно, от «тройки», заседавшей где-то в Москве. Наскоро просмотрев «дело», присланное следователями и согласованное с прокуратурой, хотя этот орган вообще своего мнения не имел, поддакивая всему, что было сострепано «на кухне» МГБ, «тройка» выносила жестокие вердикты. Осужденных, как правило, держали отдельно и столько времени, покуда из исправительно-трудового лагеря на них, то есть на необходимую рабочую силу, не придет наряд. О том, какой срок заключения они получили, мы узнавали из записок, оставленных где-нибудь в уборной, из надписей на стенах. Обычно меньше десяти лет не давали, редко, очень редко обходились пятью годами заключения.

Рассказывают, что в Хабаровской тюрьме произошел редчайший случай, когда вместо обыкновенного протокола о признании себя виновным некоему подследственному по ошибке подсунули протокол о признании его невиновным, и арестант якобы вышел на свободу. Уже будучи в лагере, я пересказал зэкам эту удивительную историю, похожую на красивую сказку. Конечно, старые, опытные сидельцы не поверили, что подобное могло произойти во времена сталинского «правосудия».

Но был один, кому повезло...

Меня переселили в другую камеру Хабаровской следственной тюрьмы; здесь вместе со мной находятся еще два арестанта. Один из них, крепкий мужик-сибиряк, опытный машинист паровоза, обвинен



в воровстве. Как известно, железнодорожный транспорт контролируют органы МГБ, поэтому его определили в следственную тюрьму как политического, хотя в его деле не было и намека на политику.

Этот машинист держал в домашнем хозяйстве свиней, но так как кормить их было нечем (купить где-либо для них корм было большой проблемой), то он придумал план. Ведомый им железнодорожный состав всегда проезжал мимо большого склада с зерном. На платформе возле склада были разбросаны мешки с отрубями — хватай их и вези домой.

Машинист так и сделал: остановив свой товарняк, он забросил несколько мешков с отрубями в паровоз, за что, как позже стало известно, отделался сравнительно легким наказанием — тремя годами

лагерей. Машинист был настолько доволен таким приговором, что всю стенку у выхода из камеры исписал лишь одной цифрой 3.

Второй сокамерник был полукровкой: отец грузин, мать русская. Его история удивительна. По окончании Высшего военно-морского инженерного училища он долгое время служил на разных судах заместителем командира по технической части. Так как корабли заходили во многие советские портовые города, то так получилось, что у офицера-моряка было несколько квартир: в Риге, Владивостоке, Ворошилове¹. И женился он на девушке необыкновенной красоты, но, увы, эта красавица-татарка, предмет его любви, стала источником всех его бед и несчастий.

Неподалеку от Владивостока, в приморском городе Ворошилове¹, проживал однофамилец того самого Гоглидзе, начальника Управления НКВД-МГБ Хабаровского края. Простой следователь МГБ, этот приморский Гоглидзе положил глаз на жену моего сокамерника. Следователь постоянно искал повод, чтобы убрать мужа надолго и как можно дальше от жены. От «доброхотов» он узнал, например, что морской офицер, злоупотребив служебным положением, приобрел по льготной цене мебель для дома.

На основе этих сплетен следователь Гоглидзе открыл дело, и в итоге морской офицер схлопотал десять лет ссылки. Но моряк был не из простаков: его отец когда-то был в Грузии шишкой, работал во властных структурах республики.

Осужденный как «бытовик», то есть за чисто уголовное преступление, он был отправлен не на край света в каторжный лагерь, а отбывал наказание в виде трудовой повинности на одной из тихоокеанских судоверфей. Как водится у моряков, люди, которые вместе с ним работали, в беде моряка-специалиста не бросили. Как только механик взошел на корабль, моряки сразу его накормили и обеспечили всем необходимым. А красавица-жена, любившая его без памяти, бегала по всяким инстанциям с одной целью: добиться скорейшего освобождения мужа.

¹Город Ворошилов в 1957 году был переименован в г. Уссурийск, Приморского края.

Это очень не понравилось следователю Гоглидзе, и тот начал подыскивать механику «политическую» статью, найти которую в СССР не составляло большого труда. И вот что настырный следователь «раскопал». Оказывается, сразу после войны старший морской офицер, он же механик судна, в составе корабельного экипажа был направлен к берегам Америки. Командование его корабля вместе со всем личным составом устроило банкет, пригласив на борт американцев (союзники как-никак!). Доход с того злосчастного банкета должен был пойти на благотворительные цели. Следователь Гоглидзе обвинил моряка в том, что тот на вечере якобы встречался с американскими разведчиками.

Также следователь привел факт, что советский офицер читал на корабле «вражескую» прессу — эмигрантские газеты на русском языке. Кроме того, произошла еще одна неприятность — с корабля, на котором он служил, один из офицеров командного состава судна сошел на американский берег и не вернулся, а ведь он, механик судна, будучи секретарем корабельной парторганизации, должен был все предвидеть, знать и своевременно докладывать наверх.

Короче, механика вышвырнули с судоверфи, на которой он работал, отбывая срок по уголовному делу, и перевели в хабаровскую тюрьму, в которой содержались политические. Собственно, там и произошло чудо, которое в советских следственных тюрьмах не случается вовсе или происходит крайне редко...

Механик написал прошение начальнику краевого управления МГБ, тому самому, который тоже носил фамилию Гоглидзе, перечислив при этом большие заслуги генерала и, разумеется, не забыв свои собственные, — правда, более скромные. Как бы невзначай он привел нехороший факт, что следователь Гоглидзе из города Ворошилова злоупотребляет славной грузинской фамилией, которую носит и начальник всего дальневосточного МГБ, представляющий наркома Берию на Дальнем Востоке, и тем самым бросает тень на заслуженного генерала Гоглидзе... Бывший судовой механик в 24-страничном послании употребил все свое красноречие, просидев над письмом несколько дней.

Конечно, хабаровский Гоглидзе, мягко выражаясь, ни на волосок

не был лучше того истаскавшегося бабника из приморского Ворошилова, который хотел угробить человека из-за того, что возжелал его жену. Да и оба Гоглидзе недалеко ушли от наркома Берии, посылавшего своих помощников на охоту за красивыми девушками. Но письмо-жалоба бывшего флотского офицера возымело действие. Хабаровский Гоглидзе почувствовал себя в некотором роде ущемленным дикими выходками соплеменника из заштатного городка. Ведь их запросто могут записать на его счет — фамилия-то одна! Вскоре с автора жалобы были сняты все политические обвинения.

Несмотря на то обстоятельство, что механик должен был вернуться в исправительно-трудовой лагерь для дальнейшей отсидки по уголовному делу, радости моего соседа не было предела, поскольку за самое крупное уголовное преступление не наказывали так строго, как за политическое. Преступные действия, предусмотренные статьёй 58 УК РСФСР (измена Родине, контрреволюционная деятельность), означали, что совершивший их попадает в разряд «врагов народа», то есть теряет надежду на освобождение. Позже до меня дошли слухи, что хваткая жена механика, красавица-татарка, сумела-таки вызволить мужа из неволи...

Увидев огромное количество узлов с бельем в бане, разместившейся в подвале, куда нас водили раз в семь дней, я понял, что тюрьма наша переполнена. Но сидя в одной камере, не видишь тех, кто находится в соседней, слышны лишь их шаги в коридоре. Ухо при-выкает к этим шагам, и ты даже постепенно начинаешь их различать. Твой слух становится острым, как у слепого. Иногда даже пытаешься представить себе рост, комплекцию и лицо человека по его шагам. Обитающие в нашей тюрьме женщины тоже привыкли к своему горестному положению. Они даже научились по коридору не шагать, а мягко ступать, как бы флиртуя. Они, женщины, знают, что за тяжелыми железными дверями томятся мужчины, и потому их мягкие, нежные шаги предназначены нам. Только нам...

В нашей тюрьме «проживает» значительное число женщин, общаясь с которыми посредством «морзянки», мы узнавали, кто они, в

чем их обвиняют. Большинство арестанток — молодые, их обвиняют в «шпионаже и измене Родине». Но и женщин в возрасте хватает — фабричных работниц, служащих, колхозниц, которых упрятали за решетку за «антисоветскую агитацию».

Характерно нежное, доброе отношение женщин к мужчинам-энкам. Некоторые готовы голодать сами, отдавая свою пайку хлеба тем мужчинам, которым своей порции не хватает. Делали они это разными путями: через надежного охранника или, предупредив заранее «морзянкой», прятали хлеб в определенном месте между стеной и трубой центрального отопления...

В ожидании «судебного процесса»

Следствие в отношении меня уже завершено, и я жду, когда меня вызовут на суд. Пребываю в весьма возбужденном, нервном состоянии, беспрерывно шагаю по камере, повторяя вслух заученную длинную речь, которую намереваюсь произнести на суде в своем «последнем слове».

Еще на этапе следствия обвинение в шпионаже было исключено, но остались жесткие пункты, против которых мне придется апеллировать. Меня обвиняют в организации преступной группы с целью «националистической пропаганды в устной и печатной форме».

В военное время за подобное преступление против советской власти грозит смертная казнь; в мирное время советский закон предусматривает наказание от 6 месяцев до 25 лет. Разумеется, на шесть месяцев еще никто не был осужден. Даже мой лучший следователь, который вроде по-человечески относился к своим «подопечным», подполковник К., считал, что «самый мягкий срок в моем случае — пять лет». Обычно такой срок дают неинтеллигентному, малограмотному человеку, который, сам того не понимая, ляпнул что-то в адрес властей, а вот спрос с учителя, писателя или артиста — совсем иной...

Мои регулярные «сражения» со следователями и прокурором мало помогали. Нескончаемые заявления о том, что мои действия не являются антисоветскими, а обвинения выглядят не более чем издевательством

над правосудием и противоречат Конституции СССР, во внимание не брались. «Ведь сам Михаил Иванович Калинин, — взывал я к разуму следователей, — задумал ЕАО как место, где должна сосредоточиться и сохраниться национальная самобытность советского еврейства».

Каждому овощу свое время, — философствовал один из следователей, разясняя мою «политическую слепоту», — в стране изменилась политическая ситуация. Мы, большевики-диалектики, толкуем об изменчивости бытия, так как жизнь всегда нам подбрасывает что-то новое. То, что вчера казалось нормальным, сегодня может стать вредным и даже преступным.

Из протокола обвинения следовало, что организованная мною группа состояла из семи человек. Среди них были такие, к кому я вообще не имел никакого отношения. Лишь однажды во время очной ставки я увидел своих «подельников». Некоторые из них действительно были моими близкими друзьями. Как ужасно они изменились! Бледные, исхудавшие, словно после тяжелой болезни, измученные следователями. Мы крепко обнялись, расцеловались и не могли сдерживать слез. Разговаривать друг с другом нам не разрешили, но в краткую, вымоленную у охранников минуту, мы сумели кое-что сообщить друг другу. Например, о нашем общем истязателе на допросах — Озирском.

Нам предъявили «вещественные доказательства» вины: вырезки из газет, журналов, отчеты с литературных вечеров, выступления перед переселенцами, телеграммы, письма, а также аккуратные свидетельства сексотов (были даже названы их имена). В отдельной папке следственного дела были подшиты регулярные доклады различных людей — тайных агентов, следивших за нами в последние годы. Читать содержимое этой папки нам почему-то не позволили.

На очной ставке мы, писатели, дружно восстали против пункта 11-го статьи 58-й — «Создание тайной организации», — который нам хотели «пришить». «Тайная организация» — с кем? С Ш.? Кто он вообще такой? И какое отношение этот человек имеет к писателям? Он должен посчитать за честь, что следствие причислило его к нашей писательской кампании... Этот Ш. продолжал давать все новые «показания», подкидывать странные сюжеты, и «дело» разрослось так, как и планировал следователь.

Этот самый Ш. поведал следствию, что Еврейский антифашистский комитет собирался направить «лично к Сталину» специальную делегацию, которая бы «открыла глаза» вождю на факты антисемитизма среди высших партийно-советских деятелей, в том числе и в самом Кремле. Ш. также пояснил, что помочь делегации ЕАК организовать поход в Кремль собирался профессор Борис Збарский, который в свое время забальзамировал тело Ленина. Мол, Збарский, будучи «своим человеком», вхож в кабинет «вождя народов». Видимо, совсем не зря за труды на своем поприще профессор был удостоен Сталинской премии. Несколько дней подряд мне пытались внушить на следствии:

— Не может быть, чтобы вы, лицо, приближенное к Михоэлсу, и к тому же корреспондент ЕАК в Биробиджане, не знали об этом плане.

Об этом «плане» мне стало известно лишь от своего следователя. Систематическими измышлениями на эту тему занимался уже упомянутый Ш, проходивший по этому же «делу», который причинил мне и остальным биробиджанским писателям достаточно сердечной боли и душевных мук, превратив «дело» в большой процесс.

Уже находясь в лагере, этот авантюрист пытался меня убедить, что план, который он задумал, будучи в тюрьме, был гениален. Он, разумеется, сознавал, что из-за его «признаний» в «дело» будет вовлечено множество фигурантов. Но чем шире разрастется эта бессмыслица, чем более идиотскими будут наветы и оговоры, тем быстрее придет избавление. Мир скоро узнает об этом «деле» и начнет устраивать акции протеста. По мнению Ш., это было единственным, что могло нас всех вырвать из цепких лап МГБ.

Таким образом, пока еврейские писатели, находившиеся под следствием, готовились выступить на суде против обвинений, неутомимый Ш. продолжал доставлять нам всем сплошные неприятности.

Мы, проходящие по общему делу, сидим в разных камерах, ждем суда. На допросы нас уже не вызывают, и у меня есть время наблюдать за сокамерниками. Население камеры состоит, в основном, из молодых людей, следствие у которых тоже завершилось. Парней, скорее всего, будут судить на месте, то есть в Хабаровске. Их дела находятся уже в краевом суде. Но в отношении нас, писателей, — тишина, «дело»

как в воду кануло. В нашей камере — восемь обитателей, четыре места на нарах пустуют, но вскоре их займут новые пришельцы.

Дни проходят нескучно, если не сказать оживленно. Молодые сокамерники, развлекаясь, перестукиваются с молодыми ээчками, представляя себя такими героями-любовниками. В ответ парни получают послания, дробно выбитые через стену нежными женскими пальцами. В этих «письмах» — желание познакомиться поближе. Девушки приписывают себе достоинства, присущие персонажам брачных газетных объявлений. Мои сокамерники разговаривают о девушках, обитающих за соседними стенами, так, будто знакомы с ними много лет. На прогулках звуками притворного кашля подадут только им знакомые условные знаки.

Иногда мне кажется, что молодые люди совершенно забыли о том, что предстоящие долгие годы им придется провести в лагере, где их ожидают нечеловеческие испытания.

Кузьма, молодой офицер-украинец, устраивал нам концерты. Его «конек» — женские роли. Два года назад, переодевшись в женщину, Кузьма сбежал из тюрьмы и добрался аж до Читы. Вполне возможно, что в женском обличье он докатил бы и до Украины, но помешал собственный язык.

В поезде, изрядно выпив, он стал трепаться, как ловко сумел провести тюремную охрану. Среди собеседников Кузьмы был и проводник вагона, который сообщил «куда следует», и на следующей станции беглеца-болтуна сняли с поезда.

В нашей камере сидел красавец-сержант, брат жены Кузьмы — шурин, значит. Так этот красавец-сержант вообще влип ни за что. Пришел как-то по-родственному к офицеру-шурину домой, и тот показал ему увесистый том советской энциклопедии, в котором были перечислены природные богатства Украины. В присутствии еще одного гостя он в шутку поинтересовался у Кузьмы, не пора ли при наличии таких огромных природных богатств стать Украине самостийной. Так как органы уже подозревали офицера в «контрабандной переброске» оружия с Дальнего Востока аж в Западную Украину, к бандеровцам (что было, конечно, полной чушью), то, приплюсовав к «контрабанде оружием» его ответы на вопросы о полезных ископаемых Украины,

офицера Кузьму упекли в тюрьму. Заодно туда же забрали и красавца-сержанта — за проявленный интерес к «самостийной Украине».

Вызвала у меня любопытство и история молодого инженера одного из хабаровских заводов — Владимира Г. Как-то на заводе Владимира обязали вместе с рабочими принять участие в первомайской демонстрации, на что он ответил:

— У нас инженеры ходят в отрепье, мне стыдно маршировать по улицам в своей одежде.

Ответ инженера, а также еще несколько его высказываний подслушали доброхоты. Например, как он расхваливал немецкий фотоаппарат «Цейсс», с которым получают отличные снимки. В отличие от фотоаппаратов харьковского производства, которыми таких великолепных снимков не сделаешь. Это уже был приговор: инженер «восхвалял иностранную технику и поливал грязью советскую». Статья 58, пункт 10, часть 1-я.

Приговор

Когда конвоиры начали переводить арестованных женщин с верхнего этажа на нижний, молодые обитатели нашей камеры будто с ума посходили. Это всеобщее возбуждение выводило меня из терпения — мои мысли были заняты только предстоящим судебным процессом, и я в замешательстве беспрерывно ходил по камере.

Молодежь приспособилась выдергивать из одеял нити, плести из них веревочки, привязывать к ним пустые спичечные коробки и затем спускать их через окошко на нижние этажи, куда выводили женщин-арестанток. В спичечные коробки женщины насыпали махорку (в тюрьме на нее спрос особый) и заодно вкладывали в них записки, в которых писали о своих чувствах. В этих душещипательных посланиях можно было прочесть о несчастной матери, у которой она, дочь, была единственной кормилицей; о ребенке, который остался теперь где-то сиротой; о загубленной девичьей юности...

Специалистом по части поэтических ответных посланий был тихий, добрейший парень Василий, одетый в гимнастерку х\б, с кото-



рой были содраны армейские погоны. Он у нас в камере специализировался на склеивании клочков газет, которые к нам попадали вместе с продуктовыми посылками от родственников заключенных.

Передавать в тюрьму газеты было запрещено, поэтому их рвали на мелкие кусочки — это, мол, бумага для самокруток. Василий из этих обрывков восстанавливал целую газету и быстро прочитывал новости, о которых мы, находясь за решеткой, понятия не имели...

Вообще-то русскую душу разгадать нелегко. За сочувствие к обездоленным ему, этому светловолосому парню, в его неполные двадцать лет приходится сидеть в тюрьме.

Он, этот солдатик-комсомолец, который читал лишь ту литературу, что преподносило командование его воинской части, вдруг стал интересоваться тяжелым положением дел в колхозах. Используя отпускной месяц, он специально разъезжал по селам и деревням целого района и изучал жизнь колхозников.

В результате поездки Василий написал большую работу, полную не только критики и замечаний, но и размышлений о том, как радикально изменить ситуацию в деревне. Свое обстоятельное письмо он собрался отправить в ЦК партии в Москву. Вложил написанное в конверт, заклеил его и положил в выдвижной ящик стола в одном из кабинетов штаба воинской части. По-видимому, кто-то за ним шпионил, вытащил это письмо из ящика стола и передал в особый отдел.

Василия арестовали, началось следствие. Он ни с кем не был связан, ни с кем не делился своими мыслями и, не чувствуя за собой

вины, задумал снова написать в Москву, в политбюро. Хотя Василий доказывал, что никакой антисоветской пропаганды не вел, ему все равно «пришили» 58-ю статью. Так же, как и я, он с нетерпением ждет судебного процесса. Ожидают суда и другие обитатели нашей камеры. А пока они ведут горячую любовную переписку с женщинами посредством записок, которые посылают своим «пассиям» в спичечных коробках.

В конце концов, я дождался дня, когда в камеру вошел охранник и назвал мое имя. Сначала я подумал, что меня ведут в суд, на мой процесс, к которому я так долго готовил защитную речь. Остальные сокамерники даже стали меня поздравлять, уверяя, что меня наверняка освободили. Василий по русскому обычаю меня обнял и расцеловал.

Повели меня по длинным мрачным коридорам. И оказался я в кабинете начальника тюрьмы. Какой-то тип, одетый в военную форму, ухмыляясь, показал мне клочок бумаги. Сначала я даже не понял, что это должно означать, но когда я начал читать эту бумажку, все поплыло перед глазами. Это бумажка не была повесткой для явки в суд, это был уже вынесенный приговор — без суда!

Из бумажки я узнал, что приговорен по двум пунктам 58-й статьи: 10-й и 11-й — к десяти годам исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Еле совладев с собой, я спросил того, кто вот таким необычным образом объявил мне приговор:

— Где же суд? И кто меня судил?

— Не будьте таким рассеянным, читайте внимательно, — невозмутимо ответил человек, принесший эту дурную весть.

Я действительно был ошарашен. Кроме цифры, означающей десятилетний срок моего наказания, я больше ничего не видел. А ведь в той бумажке еще было написано, что я приговорен специальным военным судом при МГБ — Особым Совещанием (ОСО) при министре госбезопасности СССР в Москве.

— Не принимайте близко к сердцу, — с иезуитской улыбочкой утешил меня человек в форме, — приговор еще довольно мягкий. Если бы вас судили на месте, то, конечно, был бы защитник, но наказание было бы более жестким. Вы должны радоваться, что вас осудили заочно: в таком случае наказание всегда более мягкое.

— Но разве я просил судить меня заочно? — негодовал я, не в силах понять то, что произошло.

Но человек в форме, наверное, судебный исполнитель (или кто там еще, не знаю) прервал мое возмущение, сказав, что времени у него в обрез — следует еще сообщить приговоры остальным обвиняемым по этому делу.

В тюремной камере, куда меня водворили на время, до отправки по этапу, сокамерники завидовали моему приговору. «Тебе хорошо, ты уже определился и знаешь, что будет, — говорили они мне. — Наша же дальнейшая судьба — как в тумане...» Особенно активно обсуждали мой приговор украинцы. За «самостийную Україну» сейчас дают 25 лет, — говорили они, — и если бы их, как и меня, тоже судила «тройка», то они могли бы надеяться на более «мягкий» приговор — 10 лет лагерей.

Мне было грустно и горько. Ничего себе: «мягкий» приговор — десять лет! Начинаю считать, что каждый год состоит из 365 дней и ночей, а десять лет — это уже три тысячи шестьсот пятьдесят суток лагерной жизни и каторжного труда. Выдержу ли я все это? Буду ли я еще когда-нибудь на воле? Увижу ли я своих близких и родных? Сердце ныло и щемило, и из моих усталых глаз сами собой лились слезы.

От заключенных, уже побывавших в ИТЛ, мне было известно о нечеловеческих условиях рабского труда, о бригадах-бандитах, которые издеваются над эзками, особенно над политическими. Николай Иванович, отмотавший десять лет лагерей, готовился к новой ходке в те же места. Он работал ветеринаром в колхозе, и однажды лошади, вверенные ему для лечения, сдохли. Разумеется, его обвинили в диверсии. Глядя на меня с сожалением, этот добрый старик просвещал, как мог.

— Вам в лагере будет особенно тяжело, — сказал он грустно. — Кроме того, что слабы здоровьем, вы к тому же интеллигент, к тяжелому труду непривычны. Да еще и еврей. К вашей нации, как вы догадываетесь, в лагере относятся не очень хорошо.

Мне уже нет смысла зубрить защитную речь, о ней следует забыть. Мне сейчас необходимы выдержка и мужество, чтобы пере-

жить еще большее несчастье, которое движется мне навстречу. Как много мне еще предстоит! Как много... И начнется мой путь в лагерь с запертого вонючего вагона, в котором я проведу жаркие летние дни, недели, а может, и месяцы. А еще меня ожидают пересыльные лагеря, тюрьмы, пока я не прибуду в конечный пункт своего «путешествия». И кто знает, как далек этот конечный пункт?! Об этом ничего не говорят. Лишь велят ждать разрядку из лагеря на свежую рабсилу.

По дороге в лагерь

В этот жаркий июльский день вся тюремная камера расхаживала в одном исподнем. Махорочный дым еще больше отравлял и без того разгоряченный воздух. Открытая створка окошка еле-еле пропускала воздух с улицы, в камере было нечем дышать. Разговоры между сокамерниками не клеились. Даже острые шутки молодого украинского парня не находили спроса. Тюремная публика, измученная духотой, кемарила, сидя на нарах.

Тюремный охранник настырно стучит в дверь, будит задремавших эзков: спят в неположенное время, нарушают тюремный распорядок. Один из арестантов, Иван, слабым голосом рассказывает о своей деревушке на берегу Волги. Там он летом купался каждый день, проплывал не одну версту. Ах, что это за чудо — река Волга! Ничего так не жалко потерять, как ее. Даже девок, которых он своей гармошкой завлекал на танцы. А ведь была одна, такая красивая, с синими, как васильки, глазами, Катей звали. В камере он рисовал нам словесную картину: вот она, Волга, днем, когда серебристо течет меж зеленых берегов, а вот — при алом закате солнца, когда серебро превращается в золото. Все на свете отдал бы Иван, чтобы искупаться в струящемся потоке речной воды. Ведь здесь, в камере, воздух настолько густой, спертый, хоть режь его ножом. Прогулка в четверть часа во дворе тюрьмы не спасает — она так коротка, после нее еще больше жаждешь свежего воздуха. Каждый при этом думает: хорошо, если б в такие жаркие дни никуда ни в какие лагеря не посылали, ведь в эшелоне намного хуже, чем в тюремной камере. В душной ка-

мере хоть можно напиться воды, пусть не холодной, но зато сколько захочешь, можно расхаживать полуголым, в мечтах рисуя картины с прозрачной речной протокой...

В один из таких жарких дней железная дверь нашей камеры отворилась, и вошел молодой лейтенант из охраны. Остановив на мне острый взгляд, он велел собрать вещи и идти с ним. Стало ясно, что в эту камеру я больше не вернусь. Но и в другую камеру он меня не собирався вести, объяснив, что из лагеря на меня пришла разнарядка.

В тюремной канцелярии уже наготове стоял принадлежавший мне деревянный чемодан с бельем и одеждой. Весь год моего пребывания в тюрьме он находился в подвальной кладовке. В канцелярии меня уже поджидал охранник из арестантского эшелона, он принял меня из рук тюремной администрации и получил в большом запечатанном конверте краткое изложение моего дела. Я получил продукты на пять дней: хлеб, селедку и немного сахара. Мой новый конвойный обшарил чемодан и вытащил из него наручные часы. «Заключенный, — сказал он, — не должен иметь в собственности часы. Знание времени может ему облегчить план побега». Спрятав у себя мои часы, он, наконец, произнес: «Пошли!»

Я шел впереди него с чемоданом в одной руке, в другой держал мешок с продуктами. Шел через весь огромный двор тюрьмы для уголовников, расположенной по соседству со следственной для политзаключенных. Там уже ждал тюремный автофургон, набитый другими ээками. В отличие от «черного ворона», в котором нас везли на допросы, в автофургоне отсутствовали перегородки. Здесь все были плотно прижаты к друг другу — мужчины и женщины. Конвой все время стоял в маленьком коридорчике, обособленном от нас, ээков, решеткой. Моей соседкой оказалась симпатичная девушка, которая все время редела. Привезли ее к нам сюда из уголовной тюрьмы. Со слезами на глазах она поведала о тяжком приговоре: 25 лет, которые получила за финансовые махинации на огромную сумму, работая в госучреждении. Она жалобно голосила: «Господи, сжался надо мной! Я так мало прожила на белом свете!»

Но не вся публика принимала приговор так близко к сердцу. Были и такие, кто распевал во весь голос, да так, что конвой вынужден

был часто стучать в дверь, чтобы те утихомирились. Это были отпетые уголовники, для которых этап — перевод из одной тюрьмы в другую или отправка в лагерь — был обыденным фактом. Они всячески флиртовали с молодыми зэчками, пуская в ход скабрёзные шутки и непристойные предложения. Татуированными руками шарили по телесам молодых женщин, и большинство «дам» довольно визжали, словно поросята в завязанных мешках, которых везут на ярмарку.

И вот мы уже на железнодорожной станции, где для нас приготовили четыре «столыпинских» вагона — с решетками на окнах и зарешеченными отделениями внутри. В один из них, набитый зэками, и завел меня конвойный. Эти вагоны медленно телепались из Владивостока, пополняясь в пути на крупных станциях новыми заключёнными. В моем «купе» все сидячие места и даже все верхние полки были уже заняты. Я взглянул на своих попутчиков: типичные рожи уголовников, полуголые, некоторые в матросских тельняшках («слабость» осуждённых уголовников из числа моряков); они суетились возились возле молоденького, прилично одетого политзэка, не расстававшегося с модным чемоданом. Следует заметить, что юноша держался с достоинством: как мог отбивался от жулья, угрожал позвать охрану, но конвойных было не видать — они, вероятно, находились где-то за дверью и не слышали или не хотели слышать криков, раздававшихся из нашего «купе». Короче, моего юного попутчика ограбили — он лишился верхней сорочки и костюма и получил в придачу несколько подзатыльников и зуботычин.

Сидя на своем чемодане, я совершенно не думал о жалкой одежонке, висевшей на мне и находившейся отчасти в чемодане. Какое значение имеют какие-то шмотки, когда у меня отняли привычную жизнь? Неужели из-за них я буду драться с бандитами? Печальный опыт тюремной отсидки дал мне возможность понять: там, где уголовники составляют большинство, остальным зэкам приходится туго. Это касалось и моих попутчиков, следовавших в пересыльный пункт. Меня занимала мысль, доеду ли я вообще туда в таком «приличном обществе».

В вагоне было не просто жарко, а душно настолько, что едва могла воспламениться спичка. Понемногу у зэков развязались языки,

и я узнал, что с нами едут крупные «щуки». Главный хищник был не из обычных преступников, на нем висели «мокрые» дела, то есть был убийцей. Он прославился тем, что убил человека из-за плаща, висевшего сейчас на нем. Сначала он предложил этому человеку отдать плащ по-доброму, но когда тот отказался и стал кричать, зовя на помощь, он его просто-напросто убил. «Мокрушником» обычно называют грабителя, проливающего кровь своей жертвы. Сами воры в своей среде ненавидят таких, но боятся.

Другой зэк в этом вагоне был с выбитым глазом и отличался спокойствием и хладнокровностью. На вид ему было около шестидесяти — старый бандюган, отсидевший не один лагерный срок. Под усиленной охраной его доставили в наш вагон аж с Камчатки, где он совершил разбойное нападение на пожилую супружескую пару. Его приговорили к двадцати пяти годам — это было золотое время, когда смертная казнь в стране была заменена на 25 лет каторжных лагерей. О своих злодеяниях этот тип рассказывал всему вагону довольно спокойно, ибо лишение жизни ни в чем не повинных людей было его будничной работой. Возле этих двух подонков постоянно терлись уголовники помельче — с десятков юных пареньков, почти пацанов, осужденных за бегство из школ ФЗУ (фабрично-заводских училищ) и получивших кто год, а кто полгода исправительно-трудовой колонии для подростков. Эти пареньки в пути следования в лагеря состояли в шестерках у блатных.

Тайшетлаг. Пересыльный пункт

В грязных вагонах нас везут в исправительно-трудовой лагерь. Наша пища состоит из куска хлеба и пересоленной рыбы. Поэтому постоянно хочется пить, после чего слезно упрашиваем охрану, чтобы отвели по малой нужде в туалет. Вертухаи неохотно отзываются на эти просьбы, особенно если они исходят от политзаключенных. Некоторые политзеки все-таки нашли выход — втихаря от охранников справляют малую нужду в... калоши. Как стало известно позже, охранники заключили с уголовниками негласный союз и действуют

сообща в коммерции. Вещи, награбленные «блатными» у политэзков, вертухаи продавали на станциях, когда состав останавливался. Затем охранники делились с уголовниками вырученными деньгами. Но за это они, политэзки, должны были сидеть тихо и не «поднимать шум» — своеобразная плата за отправление «естественных надобностей» в калоши, на что блатные стали закрывать глаза.

Вскоре со своими вещами, правда, без особого сожаления, распрощался и я. Вернувшись из туалета в родное «купе», увидел свой чемодан распотрошенным. Из принадлежавших мне вещей воры оставили несколько старых, бесполезных шмоток. Но поскольку я и слова бранного не вымолвил насчет того, что меня ограбили, уголовники проявили милость и даже вручили мне, дабы я не ходил раздетым, кое-что из своей поношенной одежды.

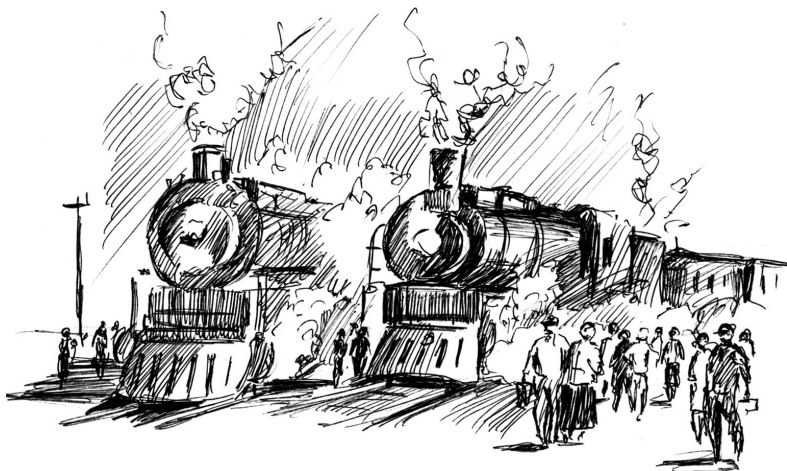
— Если ведешь себя с нами честно и не устраиваешь гвалт, — заметил мне одноглазый бандюган, — то у нас, воров, сам понимаешь, тоже есть сердце...

Особенно было жалко старика, политзаключенного из Владивостока. Он страдал поносом, постоянно испытывал боли в желудке; кроме кипятка, который приносили один раз в день вместе с тощим сухарем, он ничего не ел.

В санчасти поезда ему выдали один порошок; повышенной температуры у него не наблюдалось, поэтому больным его не признавали и в изолятор — специальное купе, приспособленное для больных, — не помещали. Больного старика вертухаи зачастую не пускали в туалет, и тот вынужден был справлять нужду под себя. Через пару дней «блатные» подняли шум, и только тогда несчастного определили в изолятор.

Между тем паровоз все больше пыхтел и дымил, набирал скорость, разрезая широкие сибирские просторы, тащил за собой вагоны с эзками, иногда останавливаясь на станциях. И здесь, в вагоне, на самом дне жизни, полной тоски, одиночества и отвращения ко всему, сквозь решетки бросаешь любопытный взгляд в окошко на вольную жизнь, которая идет там своим чередом.

На какой-то станции, в ожидании встречного поезда, наш состав остановился. На соседнем пути стоит пассажирский поезд, по пер-



рону гуляют хорошо одетые, выбритые и выспавшиеся мужчины. Рядом с ними — кокетливо улыбающиеся молодые женщины. Они осматривают станционные «достопримечательности»: зал ожидания, буфет, водокачку... Мужчины что-то объясняют женщинам, а те, заглядывая им в глаза, танцующей походкой ступают по перрону. Заметили ли они наши арестантские вагоны? А если заметили, то не пришла ли им в голову мысль, что завтра или послезавтра они могут оказаться на нашем месте, в таких же вагонах?

Кошмар в столыпинском вагоне продолжался восемь суток, из них один день мы провели в пересыльной тюрьме в Иркутске. Через восемь дней прибыли в другой пересыльный пункт — Тайшет.

Название этой станции, расположенной посередине огромного пути между Москвой и Владивостоком, звучит пугающе для каждого зэка. Это Восточная Сибирь, почти через семьсот километров от него начинается Амурская железная дорога¹. Тайшет — это не только географический пункт. В этом одичалом сибирском городке со сплошь

¹Транссибирская магистраль.

деревянными домами и тротуарами, точней, вокруг него находится целая система каторжных исправительно-трудовых лагерей, растянувшихся на сотни километров.

Первые лагеря соорудили здесь для себя заключенные довоенной поры — в 1937–1938 годах, во время так называемой ежовщины (по имени прославившегося садиста и вешателя, наркома внутренних дел СССР). Позже сюда были сосланы японские военнопленные, работавшие на удлинении железнодорожной ветки от Тайшета к Лене. От этих японцев остались лишь кладбища. Привыкшие к мягкому климату, они не выдерживали диких сибирских морозов и умирали как мухи. Позже там соорудили закрытый лагерь — строгого режима. К каждому номеру лагерного отделения добавлялся ноль. Например, 023, 043 и так далее. В этих цифровых сочетаниях были заключены проклятья: изолирован и забыт. Режим в этих лагерях — как на каторге, с той лишь разницей, что на ногах у заключенных не было колодок и цепей. Эки в этих лагерях работают по десять часов в день, выполняют самую изнурительную работу, ничего за свой труд не получая, кроме небольшой порции еды. В десять часов вечера вся лагерная округа замирает до шести утра. На эковской «униформе» — робах — на спинах вычерчены номера. Письма родным из этих гиблых мест разрешается писать лишь два раза в год.

В тайшетском пересыльном пункте режим чуть помягче, чем в других лагерях. Вероятно, из-за сравнительной близости железной дороги, боязни начальства, что эки взбунтуются и разбегутся. Ведь состав заключенных все время пополняется новыми кадрами, среди которых много уголовников, хотя тех, как правило, направляют в другие места — ближе к Лене. Как бы там ни было, все-таки в тайшетской «пересылке» несколько иначе, чем в лагерях со строгим режимом. Правда, охранники в тайшетском пересыльном лагере довольно паршивые. Перевозя эков от железной дороги к лагерному пункту в открытых грузовиках по таежным колдобинам и ухабам, из-за которых внутренности лезут наружу, они били нас по рукам прикладами винтовок, когда мы, чтобы не выпасть, держались за борта кузова грузовика.

Таким образом вертухаи ужесточали наш получасовой путь до

пункта назначения. Приехав туда чуть живыми, мы не могли отдыхать, а ведь нам всем еще предстояло пребывать долгие часы в ожидании дальнейших действий начальства, в ужасной жаре и без капли воды. По всему периметру лагеря — высокая деревянная ограда с натянутой сверху в несколько рядов колючей проволокой. Двухметровой ширины полоса земли вдоль забора считается запретной зоной, и охранники на лагерных вышках имеют право стрелять в каждого ээка, оказавшегося на этой территории. Одно утешение — ты можешь дышать свежим воздухом.

Когда я прибыл в Тайшет, вся «пересылка» была буквально осаждена собранными в одном месте ээками, которые должны были следовать дальше. Бараки были переполнены, люди спали на полу, поскольку деревянные нары давно уже были заняты.

Здесь, в пересыльном лагере, меня определили в рабочую бригаду. Бригадиром был армянин — тертый калач, прожженный и хитрый, но в общем-то неплохой человек. Он ознакомил меня с лагерными порядками и правами, которыми он, бригадир, обладает.

Все ээки обязаны пройти комиссию, и врач после осмотра присвоит каждому категорию: кому — первую, кому — вторую, а если повезет, то инвалидность, при которой появляется шанс попасть в лагерь, где труд не такой каторжный. А пока суд да дело, пока идет распределение, следует откликаться по первому зову бригадира. Так как в первые дни работы не было, то я слонялся по территории лагеря, вглядывался в собратьев по несчастью, затевал с ними разговоры и узнавал новости.

Особо замечу, что после годовой тюремной отсидки, оторванный от живого мира, я страшно изголодался по новостям. Здесь, на пересылке, я повстречал много евреев. В следственной тюрьме, кроме биробиджанцев, наверняка сидели еще и другие евреи, но в одной камере ни с кем из них я не находился. На мой взгляд, тюремная власть на эту меру шла сознательно... В течение года всего лишь один раз, и то короткое время, со мной в камере находился еврей из города Комсомольска. Он был полностью ассимилирован и по-еврейски не знал ни слова. Тем не менее его арестовали за еврейский национализм — на своем заводе он имел неосторожность высказываться против анти-

семитизма в Советском Союзе. Из моей камеры этого еврея вскоре убрали. Наверное, произошел казус, что нас, двух евреев, поместили в одну камеру. Сюда, на тайшетскую пересылку, евреев пригоняли в основном из Москвы. Находился тут и известный русско-еврейский писатель А. И.¹, чьи произведения сначала основательно подверглись критике за «космополитизм», а позднее этот «страшный грех» ему вменили в вину и осудили на 10 лет лагерей.

В пересыльном лагере женщины были отделены от мужчин забором, но кормили их вместе, в одном пищеблоке, да и работали тоже все вместе. Большинство женщин, осужденных за участие в украинском националистическом движении, были доставлены сюда из тюрем сравнительно недавно. Кроме украинок, здесь находились и русские, и немки, несколько еврейских женщин и даже японки.

В пересыльный пункт доставляют и старых сидельцев — из ликвидированных лагерей. Среди них попадают те, кто отбыли свои сроки и ждут, когда им в лагерной конторе справят бумаги на освобождение, после чего они отправятся дальше — на «вольное поселение». Это означает, что, оставаясь заключенными, они не будут окружены оградой из колючей проволоки. Сюда, в Тайшет, эзков привозят и на новые допросы. От повстречавшихся здесь евреев я впервые узнал, какая огромная лавина арестов прокатилась по всей стране в последние месяцы 1948 года и позже. На одной лишь тайшетской пересылке, в которой томятся более двух тысяч эзков (определил навскидку, по переключке), евреи составляют добрую треть.

Вообще-то здесь находятся не только участники «еврейского дела». Хватает и других жертв странных обвинений. Например, проходивших по «делу жуковцев». Участниками этого группового дела, возникшего на фоне народного уважения к военачальнику, стали сотни офицеров с высокими званиями, чья вина состояла в

¹ Под инициалами А. И. автор, скорее всего, имеет в виду русского советского прозаика и литературоведа Александра Исбаха (наст. имя: Исаак Абрамович Бахрах, 1904–1977), приговоренного в 1949-м к десяти годам лагерей за «буржуазный национализм и сионизм». В своих произведениях А. Исбах цитировал тексты молитв и даже «ша-Тикву», описывал детали еврейского религиозного ритуала, за что и поплатился.

признании ими главным вершителем победы над нацистской Германией не великого Сталина, а маршала Георгия Жукова. В нашей санчасти работала жена адъютанта маршала Жукова. Оба — и ее муж, и она — были осуждены за якобы участие в мистическом «бунте» против «отца и учителя всех народов».

На пересыльном пункте в Тайшете я встречал также представителей различных религиозных сект, главным образом, баптистов и свидетелей Иеговы, чьи вероучения отличаются от традиционного христианства. Им всем вменялось «сотрудничество с агентами иностранного капитала».

...И вот нас впервые везут на работу. Мужчины и женщины спрессованы в кузове грузовика. Чтобы не выпасть в дороге из мчащейся автомашины, эски держатся друг за друга руками и ногами. Дорога никудашная, и покуда доедешь до рабочего места, переворачиваются все внутренности.

Наша работа заключалась в следующем: требовалось разобрать старую постройку и рассортировать по отдельности материалы — брус к брусу, доски — к доскам, кирпич к кирпичу и т. д. Тогда еще я не был знаком с тамошними комарами, которые кишели миллионами. Эти крошечные гады кусали так, что места живого не было. Не обращая внимания на мошкару, я в буквальном смысле засучил рукава и принялся за работу. Невозможно было смотреть, как женщины переносили за раз по семь-восемь кирпичей или таскали вдвоем на плечах тяжелые брусья. Вернувшись с работы в барак, я увидел, что мои руки опухли от комариных укусов настолько, что несколько дней подряд я вынужден был обращаться за помощью к медсестре. Жена маршальского адъютанта обработала мне руки специальной мазью и перевязала их.

По прибытии в пересыльный лагерь арестанты должны указывать свой прежний род занятий. Здесь я услышал, что специалист имеет шанс больше времени оставаться на пересылке. Те, кого сюда привезли с дальних лагерных пунктов, рассказывали, что положение эсков там более чем ужасное. Все лето таежный воздух гудит мошкаррой, на пересыльном пункте ее гораздо меньше. Хлебной пайки едва хватает на то, чтобы не умереть с голоду, но сытым ни-

когда не будешь. Еще эки рассказывали, что лагерные начальники там сущие садисты, которые гнобят заключенных на тяжелых работах. Все эки носят номера и приравнены к настоящим каторжникам.

После ряда просьб и жалоб меня в конце концов отправили на медицинскую комиссию. Молодая докторша мои жалобы во внимание не приняла, кроме одной — зрение у меня не в порядке. Бельмо на глазу, которое возникло у меня во время войны, стало вроде ангела-спасителя, ниспосланного с небес. Комиссия решила направить меня к главному специалисту, чтобы установить, к какой категории труда меня отнести по состоянию здоровья. Вся бригада мне завидовала: «Пока лежишь в больнице, работать не надо. Такая удача случается в лагере довольно нечасто...»

В больнице Тайшетлага

Лагерная больница под номером 025, куда я был направлен на обследование к главному хирургу, находилась километрах в пятидесяти от тайшетского пересыльного пункта. Еще находясь в пути, я узнал, что только большие везунчики из числа тех, кого признали больными, имеют возможность попасть в эту больницу для выяснения категории болезни. Начальство рассматривает большинство больных как симулянтов, отлынивающих от работы. Но уж если кого действительно признают серьезно больным, то этот бедолага счастлив безмерно. На станцию нас везут на грузовике, а не гонят, как простых этапников, пешком. Нас поместили в санитарный вагон с небольшим зарешеченным окном. Этот вагон не так набит заключенными, как идущий по этапу. Для тяжелобольных здесь даже предусмотрены лежащие места. Следует заметить, что эти больные находятся на грани смерти, в них еле теплится душа.

Лагерная больница, в которую нас привезли, отличалась от рабочих пунктов лагеря более щадящим режимом. Хотя и здесь пересчитывали эков два раза в день, но для этой процедуры не выгоняли во двор, пересчитывали в помещениях, да и сами бараки здесь чище,

чем в лагерях. Разумеется, поблажка распространяется на тех, у кого имеется так называемый больничный лист. Как только зэк выписывается из больницы, его сразу переводят в общий или в рабочий барак, где проживают бригады лагерной obsługi.

025 — самая большая больница в огромном узле лагерей, относящихся к Тайшетлагу. В ней двенадцать отделений. Врачи, в большинстве своем зэки, в своих профилях являются отличными специалистами.

«Глазник», к которому меня привели на осмотр, был ассистентом у знаменитого профессора Филатова. Главный врач больницы, вольнонаемный, советовался с врачами-зэками, обсуждал с ними на медкомиссиях окончательные диагнозы, какую категорию болезни присвоить тому или иному при выписке.

Большинство больных — зэки из лагерных пунктов, измученные тяжким трудом и издевательствами со стороны бригадиров, с сердечной недостаточностью, воспалением легких, рвотой, глазными и другими болезнями.

В больнице Тайшетлага я встретил харьковского раввина по фамилии Лев, который попал сюда с тяжелой болезнью сердца и позже скончался в лагерьном пункте. Врачи рекомендовали ему строгий покой, велели не вставать с постели. Но рав Лев, повторяя на древнееврейском: «Среди своего народа нахожусь я», накидывал на себя одеяло и бродил по палатам, выискивая евреев. А когда находил того, кто был знаком с «маленькими буквами»¹, уже не отпускал его. Рав Лев, бывший ешиботник знаменитой Мирской ешивы, благочестивый харьковский раввин, был полон знаниями Торы, как гранат зернами, и целые листы Гемары цитировал наизусть. Его осудили по 58 статье, ибо кто есть человек, твердящий: «У-л-Ирушолаим ирхо бе-рахмим тошув» — «В Иерусалим-град свой в милосердии вернись» и «Ле-шоно на-бо б-Ирушолаим» — «В будущем году в Иерусалиме»? Для сталинских блюстителей госбезопасности этот раввин был таким же контрреволюционером, как и те молодые студенты, легочные больные, которых

¹ Комментарии к Священным писаниям.

арестовали за «подпольную националистическую деятельность».

В лагерной больнице я встречал и еврейских писателей, но лишь об одном здесь вспомню, поскольку он уже в мире ином, и эти строки никакого вреда ему не нанесут. Это был советский еврейский поэт из Белоруссии Гершл Каменецкий, талантливый лирик и переводчик, который был арестован вместе с целой группой еврейских писателей республики. Ему еще «посчастливилось», что судило его «Особое совещание» и он получил «всего лишь» десять лет. Здесь ему повезло еще дважды. Во-первых, Каменецкий долгие годы страдал открытым туберкулезом, а во-вторых, начальник лагерной больницы был еврей. Он разрешил поэту-туберкулезнику, который работал когда-то парикмахером, устроиться по своей старой специальности в лагере, в 12-м бараке, где содержались больные с открытой формой туберкулеза.

Мне тоже повезло. В глазном отделении меня продержали целых семь дней. Замечательный доктор Т. поставил мне диагноз: катаракта правого глаза вследствие травмы. Приняв во внимание мою общую слабость и истощение, он перевел меня в отделение внутренних болезней, где ординатором был видный московский врач-еврей.

До конца своих дней не забуду сердечность и настоящую братскую заботу, которой этот профессор-еврей меня окружил. В больнице он руководил отделением внутренних болезней и еще большим баракom с современным оборудованием, в котором находились на лечении жители города, не заключенные. Помимо его ежедневных посещений, он обеспечил меня лучшими медикаментами и лекарствами, часто из его личной аптечки. Каждый вечер он приглашал меня к себе в кабинет, и мы беседовал часами. Профессор оказался большим знатоком еврейской литературы, как на иврите, так и на идише.

История его ареста удивительна. Польские евреи предвоенной поры хорошо помнят это имя: Вольф Мессинг. Доктор Мессинг часто устраивал сеансы гипноза. Он также издал книгу о хиромантии и физиогностике. Его считали одним из лучших гипнотизеров того времени. Спасаясь от нацистов, Мессинг бежал в Советский Союз и там на сеансах гипноза творил чудеса, одновременно гипнотизируя целые группы. Профессор рассказал мне историю, как однажды в небольшом советском пограничном городе Мессинг захотел устроить

сеанс психологических опытов, для чего ему потребовалось специальное разрешение. Не получив соответствующей бумаги, Мессинг отправился к начальнику погранзаставы. Когда он вошел к начальнику, тот удивился, каким образом Мессинг появился в его кабинете, ведь для этого требовалось пройти через кордон охранников, на что чудотворец ответил: «Я всю вашу охрану... загипнотизировал».

Позже рассказывали, что эти способности использовало МГБ, с которым Вольф Мессинг якобы сотрудничал.

Профессор познакомился с Мессингом совершенно случайно. Удивляясь его большим гипнотическим способностям, профессор с ним сдружился и часто рассказывал Вольфу о том, что переживал и чувствовал. На судебном процессе профессору предъявили магнитофонную пленку, на которой был записан его разговор с Мессингом. Конечно, никаких «контрреволюционных» речей на той пленке не было. Следствие уцепилось лишь за одну фразу: в какой-то момент разговора профессор имел неосторожность восхититься созданием государства Израиль. Этого было достаточно, чтобы его упекли за «национализм» на десять лет.

Помощник парикмахера

В отделении внутренних болезней, понемногу приходя в себя, я находился целый месяц. Врачи отнесли меня к категории больных, страдающих авитаминозом вследствие длительного неполноценного питания. Зэков с таким диагнозом кормили сравнительно неплохо. Эта больница относилась к управлению Тайшетлага, и ее регулярно посещали комиссии из Москвы. Поэтому питание здесь было лучше, чем в других лагерных больницах: здесь меньше воровали, и пациенты получали полновесные, сытные порции пищи, контролируемые специальным медиком-кулинаром.

Я постоянно удивлялся тому, что в окружающем меня мире беззакония, жестокости и варварства существует больничное учреждение, в котором с несчастными зэками обращаются по-человечески. Правда, на одном из транспарантов, висевших на стене лагерьной



больницы, большими печатными буквами было написано одно из обязательств здешних эскулапов: «Добьемся, чтобы каждый больной находился на излечении не больше месяца!»

Наступило время, когда главврач, доктор Нельга, стала прямо намекать, что меня желательно уже выписать. Дело в том, что к начальнику пошли кляузы от украинцез-националистов, что профессор держит у себя евреев дольше, чем положено...

Но все-таки профессор оставил меня у себя и даже определил на легкую работу, назначив дневальным при его ординаторском кабинете и ночным дежурным в помещениях барака, в котором располагалось отделение. Но все равно для антисемитов я был как бельмо на глазу.

Другой врач-еврей, невропатолог из Вены, руководивший отделением психоневрологии, посоветовал профессору, чтобы тот рекомендовал меня в службу парикмахерской. Расчет был на то, что там я смогу потолкаться несколько месяцев и меня не бросят на тяжелую работу в лагере. Так как я считаюсь инвалидом, то имею право на более легкий труд.

Из всех врачей больницы невропатолог Н. выглядел самым интеллигентным и остроумным, и потому вести с ним беседы было сплошным удовольствием. Сведущий в немецкой литературе, он когда-то был вхож в литературные кафе и салоны Вены, сам писал фельетоны в венскую газету «Фрайе найе пресэ». Также был личным другом из-

вестного австрийского поэта и сатирика, редактора журнала «Факел» Карла Крауса, родившегося в богатой еврейской семье. Доктор Н. отбыл уже две трети своего 15-летнего срока (его арестовали в 1937-м за «шпионаж» в пользу гитлеровской Германии), хотя в СССР он приехал в 1933-м, когда фюрер лишь только замаячил во власти.

Среднего роста, полноватый, с улыбкой на лице, с неизменной трубкой во рту, он совершал обход, высматривая кого-нибудь из больных, с кем бы перекинуться умным словом. Полагаю, что для него это было необходимой разрядкой, разгрузкой от тяжелой и понастоящему ответственной работы с психическими больными, которых пребывало здесь в достаточном количестве. Кроме выявления диагноза у душевнобольных, доктор Н. проводил консультации в отделе хирургии головного мозга. И администрация лагеря, и заключенные испытывали к нему особое почтение. Даже уголовники, которые не раз мяли бока врачу, назначившему им при выписке из больницы слишком высокую категорию трудоспособности, относились к доктору Н. с каким-то трепетом. Возможно, в этом ему помогали психологическое чутье и острый глаз, индивидуальный подход к каждому человеку. Пользовался большим авторитетом доктор Н. и у парикмахеров.

Цирюльники в лагере — особая каста, наделенная привилегиями, поскольку к ним приходит стричься все лагерное начальство: «нарядчик» (ответственный за распределение рабсилы), «каптерщики» (заведующие продовольственным и вещевым складами), шеф-повар и, наконец, самый главный начальник лагеря и все охранники с их командирами. Лагерный парикмахер имеет даже отдельный список услуг (разумеется, бесплатных) для клиентов. Кого-то он стрижет наскоро, кому-то намыливает лицо и бреет так себе — тяп-ляп; иного обслуживает так, словно на воле, — с индивидуальной простыней и салфетками; для других он не жалеет крема и пудры и опрыскивает одеколоном. Лишь единицы в лагере могут себе позволить подобный люкс.

Заведующий парикмахерской — одесский татарин — здорово смахивал на еврея. К тому же хорошо говорил на идише. И не просто говорил, но и вворачивал цитаты из Святого Писания и поговорки. Проходимец, бывалый тип, он, как говорится, драл кожу с живого и

мертвого. И пока брил начальника лагеря, мог выпросить у него что угодно, и даже разрешение выходить с зоны — якобы для покупки одеколona.

У него в помощниках были двое: зажиточный крестьянин из довоенной Эстонии, получивший десять лет не только за отказ вступить в колхоз, но и за агитацию среди крестьян, чтобы те следовали его примеру. Эстонец был очень медлительным, сдержанным мужчиной, молча выполнявшим свою работу с восьми утра до девяти вечера. Вторым парикмахером был молодой русский парень из уголовной среды. Его держали на пересыльном пункте, и в лагерь обратно не отправляли из-за незаживающей раны на ноге. Поговаривали, что эту рану он нанес себе сам и впрыснул в нее керосин.

Эта тройка парикмахеров обслуживала всех эзков пересыльного пункта Тайшетлага. Иногда их звали в барак, в котором находились больные из числа вольных жителей города, выстригать волосы на соответствующих частях тела перед операцией. В случаях, когда требовалось стричь или брить женщину, у брадобреев часто возникали споры, кому из них идти. Поскольку идти желали все трое, то бросали жребий. Того, на кого пал счастливый жребий, остальные два цирюльника провожали с циничными напутствиями, чтобы он им принес на память женский «трофей»...

По рекомендации доктора Н. и профессора меня приставили в парикмахерскую в качестве дневального — вроде прислужника. В мои обязанности входило каждый раз подметать пол после подстрижки пациента, вытряхивать простыни, мыть стаканчики и тапки для бритья и следить за тем, чтобы всегда была горячая вода. Так как в тот год снег выпал уже в сентябре, то я должен был топить железную печурку. Дров для этого было достаточно, я собирал отходы пиломатериалов в лагерьной столярной мастерской, где работал еврейский парень из Польши. Также я отвечал за стирку белья этого заведения — простыней, полотенец и салфеток, которые относил в прачечную и затем забирал. После работы я должен был вымыть пол, протереть зеркала, проследить, чтобы нигде не было пыли, затем дожидаться конвоя, который обычно прибывал поздно вечером, чтобы на ночь изъять из парикмахерской бритвы и прочих режущий инструмент.

К тому же в мои обязанности входило приносить из кухни в парикмахерскую еду на троих персон. Пищу для них мне давали из отдельного котла, как тяжелобольным, состоящим по указанию врача на особой диете. Такую диету назначают больным, находящимся в предсмертном состоянии; пищу эту они есть уже не могут, и она остается на кухне. Так как у повара с парикмахерами был полный контакт, то есть «блат», то пища доставалась последним. Так вот, я должен был принести им еду, а затем вымыть посуду, просушить и поставить в отдельный шкафчик.

Немало времени я проводил в прачечной, находившейся в бараке для хозобслуги. Заведовал прачечной не кто-нибудь, а бывший Герой Советского Союза, летчик, осужденный на пятнадцать лет. Этот срок он получил за то, что во время войны немцы сбили его самолет. И хотя летчик имел на счету не один сбитый «мессершмит» и дослужился до высших отличий и звания Героя, но за то, что сдался живым в руки врага и подписал под пытками заявление против советской власти, его осудили на 15 лет.

В лагере его назначили заведующим прачечной, а он и в этой работе проявил себя. К людям интеллигентным он относился особенно тепло. Узнав, что я писатель, он старался облегчить мое существование, и в прачечной стирали в первую очередь те вещи, которые я приносил из парикмахерской. К тому же перед одесситом, моим непосредственным начальником, он всегда бросал в мой адрес пару добрых слов.

Писатель Бер Слущкий

Свою работу я выполнял добросовестно и в барак возвращался довольно поздно, уже после отбоя. Но добиться идеальной чистоты в лагерной парикмахерской было порой нелегко, так как из-за травмы правого глаза, которую я получил во время службы в рабочем батальоне в годы войны, я мог где-то не заметить пыль или паутину.

Главврач лагерной больницы, симпатичная черноглазая татарка, часто заходила в парикмахерскую, чтобы подкрасить брови. Вся-

кий раз она нарочно проводила нежным пальчиком по зеркалу или оконному стеклу, чтобы обнаружить пыль. Мои друзья, врачи-евреи, заступались за меня и просили, чтобы «Эмиота оставили в парикмахерской хотя бы на период больших морозов». Тем не менее мой шеф-одессит пригрозил:

— Пыль — это твой враг, из-за кучки пыли можешь отсюда вылететь!

В хитрых глазах начальника я прочитал его желание. Ему приглянулся мой единственный костюм, который уголовники в поезде оставили мне в награду за то, что я промолчал, когда они меня ограбили. Этот светлый костюм из отличной заграничной ткани он хотел обменять на свою дешевую эковскую робу из грубого черного материала. «Махнем?» — не раз предлагал он. Но костюм был мне очень дорог как единственное и последнее напоминание о свободной жизни. Да и уступать этому сквалыге, готовому проглотить все, на что упал его алчный взгляд, мне совсем не хотелось.

И все же он отомстил мне. После месяца пребывания в парикмахерской меня неожиданно вызвали на этап. Как я узнал, мой лагерьный пункт будет находиться неподалеку — об этом врачи-евреи хлопотали перед начальством. Мой лагерь, обозначенный цифрами 021, предназначался для инвалидов. Расположен он в пяти километрах от лагерьной больницы. Заключение ведут туда пешком.

* * *

На этом я ненадолго прерываю свои заметки о сталинском аппарате МГБ и его многочисленной армии садистов и убийц.

Перехожу к встречам с разными заключенными — евреями и не-евреями, среди которых попадались весьма интересные личности. От них я часто узнавал важные подробности о последних месяцах жизни погубленных советских еврейских писателей, с которыми этим заключенным пришлось вместе сидеть в московских тюрьмах — на Лубянке или в Бутырке.

По понятным причинам я не могу раскрыть имена еврейских писателей и деятелей культуры, проходивших со мной по одному делу, поскольку эти люди живы.

Все же мне хочется вспомнить одного из них — еврейского писателя, который в послевоенные годы жил в Биробиджане, был там аресто-

ван и позже скончался в неволе, не дождавшись, как другие, дня своего освобождения. Он был моим «поделльником» в прямом смысле этого слова, так как арестовали его и осудили по одному делу со мной.

До войны Бер Слуцкий¹ был больше знаком читателям своими лексикографическими работами и переводами классиков русской литературы. Кстати, именно он — автор перевода «Анны Карениной» Л. Н. Толстого (роман вышел в киевском издательстве для национальностей в конце 1930-х годов) и целого ряда других произведений. Бер Слуцкий публиковал также свои рассказы, а в последние годы перед арестом работал над большим историческим романом, действие которого происходит во времена Бар-Кохбы². Некоторые главы романа были уже готовы, и автор читал их своим коллегам — биробиджанским еврейским писателям.



Бер Слуцкий

¹**Дов-Бер Слуцкий** (1877, близ м. Городище Киевской губ. — 1955, тюрьма Александровский централ в 60 км от Иркутска). Работал заведующим отделом еврейской культуры в областном краеведческом музее и в радиокомитете ЕАО. Арестован 29 августа 1949 г., приговорен ОСО при МГБ СССР 31 мая 1950 г. к десяти годам ИТЛ.

²**Шимон Бар-Кохба** (с арамейского — «сын звезды») — предводитель иудеев в восстании против римлян при императоре Адриане в 131–135 гг. н.э. Рукопись исторического романа Бера Слуцкого о Бар-Кохбе «Фар эрэ, фар фрайһайт» («За честь, за свободу») случайно сохранилась и в августе-сентябре 1991 года была опубликована в журнале «Советиш Геймланд».

Слуцкий, которому было за семьдесят, выглядел намного старше. В эвакуации скончалась его жена, оставив ему маленькую девочку от первого мужа. В Биробиджане Слуцкий был предан своей работе — еврейскому отделу областного краеведческого музея. В этот отдел Слуцкий вложил много знаний и труда. Старый, ослабленный болезнями, он никогда не отдыхал. Для музея он собирал книги, предметы и вещи, ставшие раритетами, всё то, что имеет отношение к истории и культуре еврейского народа. При этом он не чурался объектов религиозного быта и культа — специально для молодежи, не имеющей уже о них представления и желания знать о прошлом.

Именно поэтому седовласый старик был привлечен к судебной ответственности. «Вещественными доказательствами» для дела Слуцкого послужили материалы, собранные в отдельный том. (Наше же общее «дело биробиджанских писателей» состояло из семи томов плюс прочие материалы), которые нам показали к концу следствия. В папке Б. Слуцкого мы видели вырезки из газеты «Форвертс» начала двадцатых годов. В то время Бер Слуцкий был киевским корреспондентом этой американской газеты и подписывался псевдонимом «Киевский». Там были корреспонденции о вовлечении мелких еврейских торговцев и лавочников в пролетариат. В обвинении это было названо «клеветой», так как Слуцкий своими писаниями в глазах Запада «обливал грязью» имидж Советского Союза. Короче, этот старик был заклеимен не только как «националист», но и как «клеветник».

Одного из уничтоженных еврейских поэтов, которого, вероятно, зверски пытали, заставили дать свидетельские показания против Слуцкого. Он заявлял, что Слуцкий посылал в ЕАК, в Москву, материалы о евреях, эвакуированных в Казахстан. В этих материалах он специально перечислял «военные объекты», на которых эвакуированные евреи работали, зная о том, что эти материалы будут внимательно читать за границей. Истерзанный пытками поэт заявил, что Слуцкий давно уже был завербован иностранной разведслужбой. Разумеется, не было ни одного еврейского писателя, о котором бы не интересовались у этого «свидетеля». Он отличался «феноменальной» памятью. Например, свидетельствовал, что и со мной познакомился благодаря

известному (ныне покойному) писателю Лео Финкельштейну¹, который представил меня ему в Белостоке. Он также заявил, что все мои корреспонденции исполнены в «националистическом духе» и что я был близок к «отцу еврейского национализма» Соломону Михоэлсу. Бог несомненно простил этого несчастного. Представляю, как его, беднягу, истязали и мучили.

Кстати, один человек поведал мне, что сидел в московской тюрьме вместе с этим поэтом и генералом, мужем известной русской певицы Лидии Руслановой (супругов арестовали вместе, почти сразу, и позже освободили). Он рассказал, что в тюрьме поэт стал очень набожным, молился, не позволял себе в субботу никакой работы.

Слуцкий был осужден строже, чем другие биробиджанские писатели. Он получил 10 лет тюремного заключения, а не исправительно-трудовых лагерей, как мы. Это считалось более тяжким наказанием. Хотя в тюрьме не заставляют работать, зато в лагере ээки большей частью находятся на воздухе и среди людей; Слуцкого же отправили в знаменитую «Александровку» — Александровский централ, старейшую тюрьму, в 60 км от Иркутска. Тюрма расположена в горных хребтах, между скалами, и ее обитатели оказываются похороненными здесь заживо, отрезанными от остального мира.

Последний раз я видел Слуцкого в «столыпинском»² вагоне, когда нас увозили из Хабаровской следственной тюрьмы после вынесения приговора к месту нашего дальнейшего пребывания. Слуцкий был в курсе, куда его везут. Но он настолько устал от следствия, что был ко всему равнодушен. Он лишь плакал и жалел свою маленькую падче-

¹ Лео Финкельштейн (Лейб Млотек) — ок. 1895, Радом, Польша — 1950, США; еврейский публицист, литературовед, пропагандист т. н. идиш-анархизма.

² «Столыпинский» вагон — зарешеченный обычный товарный вагон (с 1908 года), разделенный на клетки для перевозки заключенных. Прозван по имени царского министра Столыпина, который был инициатором массового переселения крестьян из европейской части России в Сибирь. Когда переселенческая кампания пошла на спад, «столыпинские» вагоны стали использовать для перевозки заключенных. Дверь в туалетах в таких вагонах отсутствовала, и ээки справляли физиологические потребности под пристальным наблюдением конвоира.

рицу, оставшуюся без присмотра. Уже тогда он был физически сломен и еле передвигался.

Последний привет от Слуцкого нам передали в 1956 году от его падчерицы. Привет был печальным — он скончался в тюрьме за год до нашего освобождения, в 1955 году. Да сохранится его имя среди имен сгинувших мучеников за еврейскую культуру под игом советских властителей!

Мой первый лагерь. «Прожаривание клопов»

Эти труднопреодолимые пять километров, которые мы прошли, точней, проползли от больницы до лагерного пункта, предназначенного для инвалидов, тянулись целых четыре часа. Путь пролегал через крутые сопки и глубокие овраги, покрытые толстым слоем снега. Всего лишь начало октября, но уже мороз уже 15 градусов. Снег сверкает на солнце и слепит глаза. Все окрестные сопки покрыты густым лесом. Под тяжестью снега ветви деревьев тянутся до самой земли. А между деревьями — такая благодать, такое немое сонное затишье! Даже звук наших шагов не в силах нарушить этот покой. На какое-то мгновение забываю свой эковский статус и то, что я окружен дюжиной вооруженных охранников и злыми овчарками.

Да, я нахожусь сейчас в неволе, но мой взор ясен! Ясней всех моих других чувств и, как свободная птица, он стремится к горизонту, любуясь теми красотоми, которые создал Всевышний. На мгновение забываешь жестокость конвойных, их животную свирепость к несчастным калекам, которые карабкаются на своих костылях по сопкам, скользят и падают. Среди нас есть и такие, которым всего несколько месяцев назад ампутировали ногу. В большинстве случаев к ампутации приводит обморожение, полученное на работе или на перекличке, когда проверка численности заключенных растягивается на долгие часы, и все это время они вынуждены стоять на диком морозе... Беспомощные инвалиды падают, как малые дети, которые только учатся ходить, но конвойные грубо тянут их дальше, осыпая ударами — для наведения порядка.

Одноногие калеки вязнут в глубоком снегу. Чтобы легче было идти, ээки оставляют в пути свои жалкие пожитки, отовсюду раздаются стоны и лай собак. И пока эта колонна несчастных, беспомощных инвалидов добирается, наконец, до лагеря, все уже смертельно измотаны.

На подходе к лагерю, метрах в пятидесяти от забора, нас уже ждет начальство. Сразу же начинается перекличка. При этом каждый ээк обязан назвать свой год рождения и статью, по которой осужден. Перекличка длилась несколько часов, а когда она закончилась, начальник лагеря Гришко стал обходить «новобранцев» и осматривать каждого.

Мы, люди разных национальностей и цвета кожи, расселись на огромной поляне. Собрался полный интернационал: киргизы, татары, грузины, армяне, узбеки, русские, украинцы и евреи, среди которых и я — бывший ешиботник. Начлаг Гришко и его помощники дотошно осмотрели каждого: заглянули в рот, ощупали грудь, плечи, бока, и тут я вспомнил, что подобным образом на ярмарке в нашем городке крестьяне осматривали лошадей. Гришко зло бросает своим помощникам:

— Сплошной брак! На кой черт мне эта рухлядь?

Лагерь, в который нас привели, значился под номером 021 и был вообще-то предназначен для инвалидов; солидных, перспективных планов на это исправительно-трудовое учреждение начальство не возлагало, хотя там действовали швейная и обувная мастерские. Работа в них была в основном сидячая, использовать там можно и людей престарелых, слабых и даже безногих, но наша новоприбывшая публика выглядела уж слишком убого. И одежду нам, соответственно, выдали уродливую — бэушную, засаленную, латанную-перелатанную. Обувь вообще не составляла пару: иногда на одну ногу, чаще — разные размеры. Одноногие, (их было среди нас довольно немало) стояли, оперевшись на свои костыли или лежали прямо на снегу. Каждый раз кому-то из них становилось плохо, кто-то падал в обморок и приходилось звать врача. Попадались сердечные больные, а то и бедолаги с тяжелой формой желтухи (частое явление в лагерях).

Словом, начлаг Гришко имел полное основание для подобных претензий к высшему начальству из управления Тайшетлага, призвавшему на его «бедную» голову эту публику. Начались телефонные звонки, дело дошло до того, что Гришко хотел всех нас вернуть обратно. В управлении лагерями чиновники заупрямились, приказав, чтобы он все-таки нас принял, так как эту партию эзков некуда девать. А мы пока стояли в ночном холоде перед лагерными воротами в ожидании, когда же граждане начальники договорятся о нашей дальнейшей судьбе и когда перед нами распахнутся ворота лагеря.

Место, где я должен был отбывать 10-летний лагерный срок, выглядело следующим образом: восемь огромных жилых барakov для заключенных, пара таких же строений, но административных (баня, столовая с кухней, штабные комнаты для размещения начальников, приезжающих с проверкой работы лагеря. Там же находится КВЧ (культурно-воспитательная часть), чтобы заниматься «перековкой» заключенных в советском духе. Там же, в КВЧ, есть и небольшая библиотека. В рабочей зоне растянулся длинный барак, где разместились швейная и сапожная мастерские, маленькая электростанция, столярка, вокруг которой разбросаны бревна и горбыль — эзки пилят их на доски и лагают дырки в стенах барakov, а отходы используют на дрова.

В день нашего прибытия в лагере подходила к концу хорошо знакомая нам всем процедура — так называемая шпарка (или прожаривание) клопов: обработка деревянных нар горячей водой. Эта процедура повторяется каждые несколько месяцев. Занимаются этим довольно тяжелым и очень неприятным делом «доходяги», оставленные начальством в бараках ввиду недомоганий или болезней. Сколоченные из досок нары на целый день выносят из помещений. Прямо на территории лагеря устанавливаются огромные котлы, в которых кипятят воду и затем ошпаривают («прожаривают») доски, убивая полчища клопов, омрачающих и без того убогое эзковское существование. Отработав целый день на морозе, усталые и замерзшие эзки возвращаются в барак, но и тут им нет покоя. Как только эзка одолеет первый сон, безжалостные полчища клопов вылезают из своих «укрытий» и начинают путешествовать по телам спящих. Вот поэтому дощатые нары основательно ошпаривают кипятком, матрасы про-

ветривают на морозе, а стены барачных помещений белят известью. Примерно на месяц эти процедуры спасают от нашествия клопов.

«Прожаривание» стоит немало здоровья. Пока эта работа не будет выполнена как положено, зэки валяются на снегу и мерзнут. Для нас, вновь прибывших, «шпарка» стала прибавкой ко всем нашим несчастьям. После столь долгого маршрута нам некуда было пойти погреться и дать немного отдохнуть измученному телу. К счастью, нас завели на короткое время в лагерную столовую, где было тепло и можно хотя бы немного расслабиться.

И уже здесь, в столовой, мы, заключенные-евреи, почувствовали тепло и доброе отношение со стороны своих единоверцев — портных и сапожников, которые находились в лагере еще с 1940 года. Это были евреи из Польши, Бессарабии и Западной Украины, получившие свои сроки по различным обвинениям.

Айзик Вайнер из Ровно и лагерные «придурки»

В этом лагере евреи работали в двух мастерских: швейной и сапожной, и к нам, вновь прибывшим, они относились как к братьям. Здесь к месту будет вспомнить молодого человека из Ровно — Айзика Вайнера, проживающего ныне в Израиле.

Добросердечный еврей, золотая душа, словом, красив во всех отношениях. Он сдружился со всеми лагерными «придурками», то есть теми, кто умел устроиться на теплые места, — хлеборезом, каптерщиком, рабочим по кухне и так далее. Связи Вайнера с «придурками» помогли евреям из числа вновь прибывших получать более весомые порции хлеба в обход установленной нормы (примерно 400 граммов).

Вайнер проживал в бараке для «привилегированной касты», в котором квартировали портные, считавшиеся в лагере белой костью. Они обшивали все лагерную администрацию во главе с начальством, разумеется, не беря за свои труды ни копейки. Портным давали всякие поблажки; в бараке у них на стенах были развешаны картины,

в каждом уголке было по-домашнему уютно. Портные даже имели привилегию носить прически, а не стричься наголо, как остальные. Некоторые из них умудрились сохранить свою прежнюю, цивильную одежду и выглядели весьма элегантно. Делали они это ради симпатичной чернобровой еврейки, вдовы капитана, тоже еврея, контролировавшего в лагере, согласно своим обязанностям, производственные мастерские. Вообще-то она была единственной женщиной, которую ээки могли лицемерить. При ее появлении сотни пар мужских глаз вонзались в нее, как пики.

История Айзика Вайнера удивительна. Ему удалось спастись, когда фашисты оккупировали Ровно, а его скитания по Советскому Союзу напоминают истории из «Тысячи и одной ночи». По известным причинам я не могу их сейчас изложить. Достаточно сказать, что на нем висел смертный приговор, который советская власть (ему тогда не было еще и двадцати лет) заменила на десять лет лагерей. В одном из них он работал на обжиге известковых камней, и когда немецкий ээк-фашист оскорбил его как еврея, Вайнер рассвирепел, схватил его и сбросил в известковую печь. И хотя никаких улик не было, поскольку от этого немца и следа не осталось, Вайнер получил солидную прибавку к прежнему сроку. Горячий, гордый еврейский парень, он не раз давал в лагере по морде каждому, кто позволял себе антисемитские высказывания.

Чуть позже мы с Айзиком стали составлять список евреев, находившихся в лагере. Каким-то образом он изыскал для них дополнительные хлебные пайки. Как только прибывал свежий этап, Айзик посылал меня «в разведку» с целью узнать, имеются ли евреи среди вновь прибывших. Если таковые обнаруживались, то Вайнер заботился о лишнем куске хлеба для них. Помимо хлеборезки, он добывал хлеб через своих людей — портных, получавших от начальства за свои труды буханку черного хлеба. Положенные пайки у них оставались в заначке, и Айзик заботливо собирал «излишки» и распределял их между евреями-инвалидами.

Для человека, живущего в свободном мире, упоминание о лишнем куске хлеба выглядит довольно комичным и неправдоподобным. Но в то время и в той стране, где я находился, а находился я в местах

лишения свободы, мало что кроме хлеба могло насытить желудок. Мяса мы вообще не видели, рыбу нам давали тухлую или настолько пересоленную, что ее невозможно было есть. Кроме мизерной порции каши, хлеб был единственной нашей пищей. Словом, Айзик Вайнер не раз спасал евреев от голода и смерти.

Понемногу я стал привыкать к новому месту и к новой жизни. Мне выделили уголок на верхних нарах, а Айзик меня «сосватал» к хорошему бригадиру, Петру Крючкову. До лагеря он был не кем-нибудь, а директором завода. В 1937-м его арестовали за «болтовню» (говорил то, что не следует) и присудили десять лет. Но поскольку лишнего он сболтнул подшофе, наказание смягчили до пяти лет лагерей. В 1941-м его освободили и вернули на родной завод, производивший в годы войны вооружение. Крючков был талантливым администратором и блестящим организатором и сумел наладить работу на заводе на высоком уровне.

Но после лагерной отсидки его давняя страсть к спиртному усугубилась. Оказавшись на воле, он стал часто прикладываться. Однажды его старый друг, полковник, перед убытием на фронт пригласил к себе домой на день рождения жены. Изрядно выпив, они ударились в тему большой политики. Крючков выразился, что если бы, мол, Сталин не заключил свой пакт с Гитлером, то и войны бы не случилось.

Реакция полковника на речь гостя была мгновенной: «Ах ты, вражина! Не зря тебя посадили в 37-м...»

К несчастью, у Крюčkова при себе был личный пистолет. Недолго думая, он всадил пулю в голову полковника. За подобное преступление — убийство старшего офицера в военное время — Крючкову грозила смертная казнь, но и на этот раз счастье ему улыбнулось: он отделался десятью годами по статье 59, которая квалифицирует подобное преступление как просто бандитизм, без какой-либо политической подоплеки.

70-летний профессор С.

Бригадир Крючков страшно раздражался, когда вместе с нами, инвалидами, выходил на работу. Он кричал, ругался, вспоминал при этом нашу мать. Хотя по характеру человеком он был неплохим и часто отворачивался, делая вид, что не замечает, как некоторые члены его бригады не работают «как надо».

Нашей бригаде, состоящей из инвалидов, дали работу внутри лагерной зоны. Ежедневно требовалось натаскать в баню несколько сотен ведер воды, обеспечить водой столовую, а жилые бараки — горячей водой. Еще мы должны были чистить территорию лагеря от снега, колодец — ото льда, обеспечивать бараки дровами и помогать дневальным в бараках мыть полы. В наши обязанности также входила чистка картофеля на кухне, доставка продуктов со склада в столовую, а также другие виды хозяйственных работ.

Крючков, бригадир, уважал подчиненных, которые ему не перечили и не отказывались от любой работы. Именно потому, что я был у него на хорошем счету, на верхних нарах он подселил меня к хорошему соседу. Им оказался седовласый профессор С. Хотя ему уже стукнуло семьдесят, он отличался большой физической силой. Ежедневно по утрам занимался гимнастикой — даже полуголым в сильный мороз. Его тугие, крепкие мускулы были совсем не похожи на мускулы пожилого человека. Сразу же, с первой нашей беседы профессор С. заслужил полное мое доверие. Он был человеком высокой культуры, обладал добрым характером. Финн по национальности, он родился в деревне возле Гельсингфорса. Состоятельный отец дал ему приличное образование — он окончил Петербургский университет с отличием и в канун войны перешел в аспирантуру. Еще юношей получил звание доктора философии, затем уехал в Сорбонну продолжать образование. После поселился в Литве, где стал профессором университета в Ковно, вел большую научную работу и издавал на литовском языке учебные пособия для студентов. Правительство Сметоны¹ настолько считало профессора-финна своим,

¹ Антанас Сметона (1874, Ковенская губ. — 1940, США) — литовский государственный деятель, президент независимой Литвы в 1919–1920 и 1926–1940 гг. Безусловно,

что доверило ему во время поездки в Париж отвезти дипломатическую спецпочту. Позже по этой причине МГБ обвинило профессора в «открытом шпионаже» и осудило по страшной 58-й статье, пункт шестой.

В чью пользу этот уважаемый профессор тогда шпионил? Ответ появился лишь после смерти Сталина, когда все обвинения с ученого сняли. Но это всё будет потом. А пока этот финский гуманист был отправлен на пятнадцать лет в лагеря.

Бригадир Крючков постоянно подшучивал над ним о его лагерном сроке:

— Товарищ профессор, попросите у прокурора еще несколько лет, при вашем здоровье вы оттрубите-таки свои пятнадцать.

Профессор С., великолепно знавший шесть европейских языков, кровно связанный с философией и логикой, был моим напарником по тяжелой и грязной работе. Все эти годы нас вместе переводили из лагеря в лагерь, мы оба чувствовали на себе кнут негодяев и вырожденков, разных начальников и бригадиров. Старый профессор не чурался тяжелой работы и искренне обижался, когда я не разрешал ему поднимать тяжелые бревна. Конечно, физически он был крепок, но ноги у него часто распухали. Несколько дней он отлеживался на нарах, а затем снова принимался за самую тяжелую работу, словно хотел отработать какой-то грех.

Работать с ним было сплошным удовольствием. Он наизусть помнил содержание большого количества научных трудов и охотно делился со мной своими знаниями.

Годы спустя, после кровавых восстаний и бунтов² заключенных в лагерях Воркуты, Норильска, Колымы, а также Ферганы и частично в нашем Тайшетлаге, бериевский террор начал потихоньку слабеть. ЦК партии созвал специальный пленум о положении миллионов

был антикоммунистом, но частое в советской литературе обвинение его в фашизме не имеет под собой оснований.

² Восстания и бунты заключенных в ряде лагерей системы ГУЛАГа прошли после смерти Сталина и ареста Берии. В то время протестное движение (особенно политзаключенных) выражалось в митингах и собраниях, невыходе на работу, жалобах и обращениях. Все выступления были жестоко подавлены, среди жертв были сотни убитых и раненых.

заключенных, разослав в лагеря различные комиссии, чтобы разобраться с печальным положением дел в местах заключения. Начальство попросило профессора С. провести в лагере для эков несколько публичных лекций по каким-то общественно-научным проблемам и ответить на некоторые вопросы. Не могу забыть его пламенные дискуссии с антисемитами по «еврейскому вопросу».

Когда в 1955 году заключенным разрешили получать из дома книги, личная библиотека профессора стала быстро пополняться литературой на разных языках. Радостный и сияющий, он однажды принес старое академическое издание на русском языке: «Письма Плиния Младшего». Древнеримский цезарь, поэт и адвокат, который был губернатором Сицилии, рассуждал в своих письмах к императору Адриану о поэзии, искусстве, политике и христианстве. В этих образцах эпистолярного жанра он писал о христианских сектах, которые не желают поклоняться римским богам. При этом, как делился Плиний с римским цезарем, люди вкушают на сборищах секты только свой — чистый — хлеб. В конце этой книги дается сноска, в которой выражается подозрение, что христиане замешивали в тесто кровь римских младенцев.

— Вот видите! — с триумфом победителя говорил старый профессор. — Оказывается, кровавый навет имеет давнюю историю...

Седой профессор носился с этой старой потрепанной книгой вокруг лагерных антисемитов, доказывая, что юдофобский тезис о том, что евреи используют кровь христианских младенцев для выпечки мацы, не имеет под собой никаких оснований, а тянется от древних римлян к первым христианам.

Я охотно рассказываю об этом удивительном человеке, потому что он мне особенно врезался в память как один из благороднейших праведников народов мира, которых так редко встретишь в лагере...

Врач-нацист, мясник-еврей из Москвы, Голда Меир и другие

Вообще-то наша бригада на интеллигентов была весьма щедра. В ее составе находился министр просвещения из правительства Сме-

тоны, позже ставший руководителем Госконтроля Литвы, — Константинас Шакянис¹. Еще в 1924 году он перевел на литовский язык классическую поэму Адама Мицкевича «Пан Тадеуш». Шакянис был арестован 14 июля 1940 года, через месяц после того, как Советы заняли Литву. Этот государственный деятель умер в лагере, когда ему было уже за семьдесят.

Был у нас и эстонский адвокат, который от гипертонии и целого букета других болезней был не совсем в себе. На родине, в Эстонии, его сестра вынуждена была тайно продавать свои драгоценности, чтобы на эти деньги отправлять посылки с продуктами брату в лагерь. Этими посылками, которые он регулярно получал два раза в месяц, эстонец откупался от работы у нарядчика, распределявшего задания. Адвокат был страшным антисемитом. В лагере он сдружился с нацистским врачом по фамилии Мозебах, на совести которого была не одна еврейская жизнь. Мы тогда еще мало что знали о его нацистском прошлом, как и о том, какую роль играли немецкие врачи в уничтожении евреев Европы. Правда, некоторые немцы в лагере стремились быть учтивыми в отношениях с эсками-евреями. Но только не доктор Мозебах — тот не мог спокойно смотреть на еврея. Когда его перевели на работу в санитарную часть, он стал всячески издеваться над евреями-больными. Поэтому было нетрудно себе представить, как такой мерзкий тип поступал с евреями, будучи при власти. Например, в «Хрустальную ночь»²...

Мне известен факт, когда этот врач-нацист чуть не довел до смер-

¹ **Константинас Шакянис** (Konstantinas Sakenis, 1881–1959), председатель президиума Сейма был в числе 220 тысяч литовцев — интеллигентов, фермеров, военнослужащих, инженеров, политиков, вывезенных в Сибирь по приказу Сталина в 1949 году. Автор ошибочно указывает год и место его смерти.

² «**Хрустальная ночь**» — в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года нацисты разгромили множество синагог, магазинов и контор, принадлежащих евреям в Германии и Австрии, и убили 91 еврея. Дома, еврейские школы и больницы были разграблены. По итогам погрома в концлагеря отправались 30 тысяч германских евреев.

ти одного еврейского поэта. Вот с таким врачом в зверином обличе и завязал дружеские отношения эстонский адвокат, и вдвоем, в открытую, они вели разговоры, унижающие достоинство евреев. В нашей бригаде евреев было негусто; кроме меня — еще два-три человека. Один из них, тяжело больной, отправленный в лагерь еще в 1937 году за найденный у него экземпляр «Азбуки коммунизма»¹ — известного произведения Николая Бухарина («Азбука...» была выпущена многотысячными тиражами в советских госиздательствах). На теле этого больного человека, кажется, не было живого места. В первый год войны многих заключенных из его лагеря, который необходимо было эвакуировать в связи с наступлением немцев, расстреляли. Целую ночь этот еврей был на волоске от смерти, пока не попал в список оставшихся в живых. В ту ночь он стал совершенно седым. В свои сорок лет он выглядел стариком, которому далеко за шестьдесят. Он был глубоко верующим человеком, и его сухие синие губы беспрерывно что-то шептали. Из лагерной пищи он употреблял лишь скудную пайку хлеба с кусочком сахара в тринадцать граммов.

В сравнении с ним другой еврей казался таким здоровяком-исполином, хотя у него на правой руке отсутствовали пальцы. Пятёрни он лишился по неосторожности, на лагерной пилораме, и не будь этого несчастного случая, при своей солидной комплекции он никогда бы не попал в бригаду инвалидов. Но зато левой рукой он творил чудеса. Работая грузчиком на мучном складе, этот еврей одной рукой нагружал огромные грузовики и затем разгружал и укладывал мешки на другом складе. В Москве он работал мясником и в лагерь попал из-за Голды Меир.

Он был одним из сотен евреев, арестованных за открытое проявление симпатий к первому посланнику государства Израиль в Советском Союзе Голде Меир. Это был еврей, не позволявший, как

¹ В «Азбуке коммунизма», которая в 1920-х годах использовалась в качестве учебного пособия в партийных школах, ее автор, видный политический деятель Николай Бухарин (1888–1938), совместно с Евг. Преображенским осуществил анализ неудач «военного коммунизма».

говорится, плевать себе в кашу. По законам лагерной жизни он мог заехать левой пятерней в морду любому обидчику или хулигану, добавляя со злостью:

— Я тебе, каналья, глаза выцарапаю!

Когда оба нациста, Мозебах и адвокат-эстонец, начинали задирать и травить больного еврея, пострадавшего из-за бухаринской книги, называя его не иначе как симулянтом, то я и профессор С. как могли заступались за него, а московский еврей-силач попросил меня объяснить этим двум подлецам на немецком языке, что однажды ночью он их придушит одной рукой, если они не закроют свои вонючие фашистские рты. Я попытался довести до них его угрозу, правда, в более мягкой форме, заверив, что если они не прекратят свои антисемитские выходки, то «этот господин вынужден будет прикоснуться к вашему горлу».

Но москвич-силач, разобрав мой «мягкий» перевод, обиделся: «Что ты с ними церемонишься — «к горлу-шморлу»? — Так и скажи: придушу этих гадов!»

Я перевел его угрозу дословно, и, замечу, это здорово помогло — оба антисемита на некоторое время притихли. Когда они позже снова взялись за свои антисемитские штучки, мясник-москвич нашел действующее средство, объявив «забастовку». Он не стал разгружать мешки с мукой до тех пор, пока эти «два друга евреев» не приступят к работе наравне со всеми. Если эти сволочи откупаются своими посылками от тяжелой работы, то незачем других обзывать симулянтами. Пожалуйста, требовал он, пусть придет врач и убедится, что эти два друга-антисемита с сытыми мордами в десять раз здоровее больного еврея-«бухаринца», которого от работы не освобождают. Хотя Крючкову, нашему бригадиру, тоже часто приходилось вкушать содержимое продуктовых посылок эстонца, он ненавидел эту выхоленную публику и не хотел (и не мог) защищать бездельников на виду у всей бригады. Но он сделал правильный выбор: послал обоих колоть лед вокруг колодца. Это средство подействовало на них сильнее, чем угрозы придушить их ночью, — с работы они возвратились, еле передвигая ноги, кряхтя и сопя, забыв свои излюбленные разговорчики о евреях.

В нашей бригаде также находился один из двух братьев Стома — известных в стране изобретателей-самородков, на счету которых было несколько важных открытий.

Как поведал этот Стома, одним из его изобретений был прибор для автоматического торможения локомотива во время опасности. Это изобретение было применено для поездов московского метрополитена.

Пожилый русский человек с нерусской фамилией Стома постоянно писал заявления и жалобы насчет гонорара — денег, положенных ему за изобретения.

— Что ты будешь делать с деньгами в лагере? — постоянно подковыривал его бригадир. — Все равно их у тебя отберут. Оставь их лучше своей сестре. (Сам изобретатель был старым холостяком.)

Другой зэк из нашей бригады, инженер Кузнецов, так же как и Стома, отстаивал свои деньги, боролся против вынесенного ему приговора — пятнадцати лет лагерей за «диверсию», которую он якобы учинил, составив заведомо неправильный проект. Этот проект был принят свыше, в него вбухали несколько миллионов рублей. В ходе осуществления проекта выяснилась грубейшая ошибка — и ему приписали диверсию.

— Даже если иногда допускаешь ошибку, — жаловался он мне, — выходит, что я уже враг? Я же для родной страны старался — хотел сделать доброе дело...

Кузнецов в действительности был человеком выдающихся способностей, у него были золотые руки: он отлично рисовал, делал интересные скульптурные работы. Вместе со Стомой он пытался уговорить начлага, чтобы тот разрешил им открыть в лагере «проектное бюро». Свои планы они направили в управление лагерей, чтобы там, наверху, разрешили открыть небольшую фабрику по производству крахмала из картофельных очисток, а также установить соответствующую технику для производства ваты из всякого ненужного тряпья.

В каждом лагерном пункте, в который я с ними попадал, они таким образом пытались открутиться от тяжелой работы. Месяцами в кабинетах они занимались своими «проектами», пока из управ-

ления не приходила к началу бумага, что вся их затея — блеф или давно уже реализованное дело. Горе-изобретатели снова вынуждены были возвращаться к повседневным лагерным трудам.

Становлюсь «своим»

В один «прекрасный» день всем заключенным было приказано получить номера и нашить их на одежду. Отныне и навсегда принадлежность зэка к данному лагерю должна выражаться в его порядковом номере в виде пришитых заплат на фуфайке и ватных штанах. Некоторые зэки, узнав об этом, протестовали: «Стыд и позор! То же самое делал с евреями Гитлер, цепляя на их одежды желтые заплатки».



Всего лишь несколько лет назад в СССР был показан фильм «Человек № 217»¹, рассказывающий о гитлеризме, об унижении человека, не имеющего даже имени, лишь один номер.

Почувяв неладное, начал собрал весь состав заключенных и прилюдно пригрозил:

— В течение сегодняшнего дня номера должны быть пришиты к верхней одежде и сохраняться в целости! За неисполнение приказа — карцер!

— Давайте пришьем эти тряпки с номерами, — рассудили зэки.
— Что с ними сидеть, что без них — один черт.

Мне вручили заплатки с номером 265ИА.

Спустя годы, рассматривая эти события из далекой перспективы, я размышляю: откуда во мне взялось мужество пережить всё это?

¹ «Человек № 217» — советский художественный фильм, снятый в 1944 году режиссером Михаилом Роммом. Героиня картины — русская девушка, угнанная в Германию, носившая номер 217.

Может быть, я закалился в неравной борьбе со следователями, которые цеплялись за любую мелочь, чтобы «пришить» мне самые невероятные преступления? Отвращение, ненависть к властям, которые хорошо знали фальшивость всех обвинений, но продолжали меня мучить физически и морально, укрепили мою волю и терпение, на что, казалось, я вообще не был способен.

Это была будничная работа в лагере 051. Мы рыли траншею длиной в три километра. Эки начинали ее рыть еще до нас, но по неизвестной причине работа была приостановлена. Эта траншея предназначалась для водопроводных труб большого диаметра, по которым из водокачки на маленькую железнодорожную станцию должна была поступать вода для заправки паровозов.

Обычно такие виды работ производятся во время больших морозов. Траншея довольно глубока и наполнена водой, моментально замерзающей при низкой температуре. При пятидесятиградусном морозе мы ломami долбили лед и выбрасываем его из траншеи. При такой низкой температуре вся окрестность покрывается туманом, при котором конвою уже эков не разглядеть, и тогда работа прекращается. Нерабочие часы активируют, и вынужденный простой мы должны отработать в выходной день, в воскресенье.

После «прогулок» на работу и обратно мы буквально валились с ног от усталости. Четыре километра от лагеря до места работы проходили отнюдь не по гладкой дороге. При этом конвой окружал близлежащие дома населенного пункта, через который пролегал путь, дабы эки не завязывали контакты с местным населением. Охранники вели нас через поле по снегу глубиной до одного метра. Потом мы шли через лес, затем карабкались на крутую железнодорожную насыпь. В пути еще попадалась быстрая речушка, через которую был перекинут мосток из трех или четырех досок — скользких, прыгающих, словно качалка, под ногами, пока мы по одному, друг за другом, перебিরались на другой берег.

Работать было неимоверно тяжело. Промерзшая земля, которую мы долбили ломami и кирками, была тверже камня. Да и сам рабочий инструмент весил немало — почти пятнадцать килограммов. Норма 10-часового рабочего дня составляла один кубометр мерзлого грун-

та. Ежедневной пайки из 750-ти граммов хлеба и комка задубевшей на морозе овсяной каши явно не хватало для поддержания сил. Тем более что в лесу, на морозе, аппетит разыгрывается зверский. Порция хлеба, рассчитанная на целый день, проглатывается в один присест, и до возвращения в барак, до самого ужина, не остается даже крошки, чтобы утолить бешеный голод.

Целый день долблю твердый как камень лед, от которого почти не откалываются куски. Присматриваюсь к молодым здоровым украинцам, у которых работа тоже поначалу шла неважно, но потом они пускали в ход кирку и к концу дня норму выполняли. Я пытался воспользоваться этим методом, но, видимо, орудовать киркой — работа не для меня. Одной смекалки здесь недостаточно — нужна еще сила. А раз не выполнил норму, получай штрафной паек — всего лишь 400 граммов хлеба и миску баланды в день, но бригадир все равно заставит тебя потом выполнить норму! Добравшись до мягкого грунта,



выбрасываю из траншеи четыре кубометра земли в день. Но почему мне так тяжело дается освоить мерзлый грунт?

Наш бригадир, рослый украинец, — сущий зверь. Своим подпевалам он приписывает липовые проценты. Их задача не столько работать самим, сколько подгонять на работе остальных. Через несколько дней после невыполнения рабочей нормы бригадир поставил меня выбрасывать лед из траншеи. Шансов выполнить норму стало больше, но так как постоянно стоишь в мерзлой луже в резиновых сапогах, ноги прочно примерзают к обуви.

На все мои просьбы пустить меня к костру погреться бригадир отвечал грубым отказом. Ноги мои одеревенели, а от тела исходил пар. Я скинул с себя фуфайку, оставшись в одной рубашке. По всем законам медицины, при моем слабом здоровье, я должен был схватить воспаление легких или, на худой конец, простуду. Когда я еле приплелся в барак, то сразу направился в санчасть. Я ожидал, что термометр покажет повышенную температуру, и я хотя бы часок-другой смогу передохнуть. А еще лучше пару дней вообще не подходить к этой проклятой канаве с замершей водой. Но к чему только человек не привыкает! Даже больные туберкулезом в лагере мгновенно «выздоровливают». Нашим бы врагам такое «выздоровление»! Раны вроде уже зарубцевались, кровь горлом не идет, так что вперед — на каторжный труд!

Жаловаться на что-либо в лагере не следует. Если на что-то пожалуешься, то жди, пока не намнут бока, чтобы усвоил навсегда: твой хозяин — бригадир! Ты ему полностью принадлежишь. Бригадир — вершитель твоей судьбы, и он упивается этой привилегией. В «деле», которое сопровождает ээка из тюрьмы в лагерь, оценивается его поведение. Поведение ээка, кстати, характеризует бригадир. Достаточно последнему затаить на подчиненного злобу, и ээк получит такую характеристику, что даже после окончания срока не сможет вкусить радость амнистии.

Сколько бы я ни упрашивал бригадира разрешить мне хоть на пару минут подойти к костру, получал отказ. Неожиданно пришла странная, дикая мысль: подойти к бригадиру и ударить лопатой по голове. Представляете: я и бригадир, Давид и Голиаф! Как я только посмел об этом подумать! Тоже мне — герой! Скорее, это была слу-

чайность, чем осознанный протест. Возможно, это было следствием накопившейся за последнее время боли или своего рода попыткой самоубийства, на которое у меня не хватало мужества. Но в то мгновение, когда я ударил его по голове валявшейся на земле жердиной, я понял, что жизнь моя кончена.

На меня налетели охранники, нацепили наручники и отвезли в карцер, в котором я пробыл десять дней.

Но моего бригадира не взял ни черт, ни дьявол. Рана, нанесенная ему мной, за эти десять дней зажила, хотя он ходил с повязкой на голове. Меня снова отправили в его бригаду. Я попрощался со своими знакомыми, словно мне предстояло взойти на эшафот. Я был уверен, что с работы меня принесут в барак покойником. На всякий случай я даже передал адреса знакомых людей, находившихся на воле, чтобы они узнали о моей смерти.

Появившись снова на рабочем месте, я стоял и ждал приговора в отношении себя. Вынести, а тем более исполнить приговор мог не только бригадир, но и его помощники-шестерки. К удивлению, бригадир подошел ко мне и, улыбаясь, протянул руку:

— Ты чего не сказал?

Это означало, что если ты без страха дашь кому-нибудь по голове, то становишься «своим».

— Так почему молчал? Скажи, скольких ты уже ухайдакал?

— Пять душ, — соврал я и глазом не моргнул.

Вот так я вошел в роль «своего», которому может сойти с рук содеянное. Бригадир стал со мной считаться, каждый раз заботливо отсылая к костру погреться. Что там художник, что там стихотворец, что там бытописатель человеческих отношений вроде меня! Когда такие типы, как бригадир, чувствуют чужую силу, они становятся как шелковые. Многие в бригаде приняли меня за уголовника; я, конечно же, надувал щеки и строил при этой игре надлежащую мину.

Друзья-евреи в бригаде меня не выдавали. Наоборот, всячески поднимали мой авторитет, старательно рассказывая членам бригады и бригадиру небылицы из моей прошлой «героической криминальной жизни». Этим они оказывали мне большую услугу, понимая, что тень моих «подвигов» падает и на них.

Поэт Мойше Бродерзон

Уже долгие месяцы пребываю в лагере, считаюсь старожилом и стал понимать, какие опасности подстерегают заключенного и как от них уберечься. Тщательно разобрался в том, какую работу смогу выполнить и как к ней привыкнуть. Научился мешать раствор из цемента, извести и глины, копать ямы, штукатурить стены, и не просто таскать кирпичи, а подниматься с ними на верхотуру. В лагере завязал знакомства с заключенными — евреями и неевреями. Днем мы все тяжело работали, а вечерами, встречаясь, вспоминали былые дни на воле — жизнь, которая для нас больше не существует.

Моноotonно, однообразно тянулась наша лагерная жизнь до той поры, пока однажды не прибыл эшелон с новыми заключенными. Все эски дружно, несмотря на усталость после каторжных трудов, повалили к баракам с новичками, надеясь увидеть друзей или знакомых.

Среди заключенных-новичков я увидел поэта Мойше Бродерзона¹. Он прибыл вместе с бессарабским еврейским поэтом С.² Сам Бродерзон по-прежнему носил коричневую шляпу. Шляпа вообще была в лагере редкостью, и в дальнейшем любительская группа на своих вечерах и концертах пользовалась его головным убором. На нем также было ватное зимнее пальто с широким воротником, а на спине висел

¹ **Мойше Бродерзон** (1890, Москва — 1956, Варшава) — еврейский поэт, театральный режиссер, график. Основатель литгруппы «Юнг-идиш», ведущий деятель еврейского авангарда в предвоенной Польше. В сентябре 1939 г. вместе с женой бежал от нацистов на территорию СССР, работал в московском ГОСЕТе, получил советское гражданство. В апреле 1950 г. был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и сослан в Сибирь, где находился до сентября 1955 г. В июне 1956-го возвратился в Польшу.

² **Бессарабский еврейский поэт С.** — Мотл Сакциер (1907, Леово, Бессарабская губ. — 1987, Тель-Авив). В 1949 году был осужден на 10 лет ИТЛ и переправлен в Тайшетлаг, где находились и другие еврейские писатели. Написанный им в заключении роман «Идише шнайдерс» («Еврейские портные») был изъят и уничтожен. После освобождения вернулся в Кишинев, где продолжал литературную деятельность.

рюкзак. Бледное, морщинистое лицо, впалые щеки. От прежнего элегантного поэта осталась лишь пара огромных прекрасных глаз, затянутых пеленой страха, которые смотрели на меня с удивлением.

Бродерзон прибыл из Братска (лагпункт 045), в котором после упорного старания на прежней работе получил хорошую (разумеется, в лагерных условиях) должность «водовоза» — развозчика воды в общую умывальню. Так как с водой там приходилось туго (ее надо было таскать из реки), его задача состояла в том, чтобы воды в бочках хватало на сутки. Лагерные уголовники, зная о том, что он получает посылки от жены, Шейндл-Мирьям, всячески его шантажировали, отбирали продукты и унижали при этом. При встрече он обнял меня и громко разрыдался. Бродерзон не мог выговорить ни слова. Он смотрел на меня, молчал и снова рыдал. Прошло прилично времени, прежде чем Бродерзон успокоился и пришел в себя. В общем, происходило то, что обычно бывает, когда есть много что сказать друг другу и не знаешь, с чего начать.

Бродерзона арестовали гораздо позже меня, в 1950-м, когда многие московские еврейские писатели уже оказались за решеткой. Каждый день он со страхом ожидал, что за ним придут. Шустрый, энергичный Мойше Бродерзон, которого я хорошо знал в Польше, стоял сейчас передо мной поникший и сгорбленный, и из его огромных глаз глядела сама печаль. Держась за сердце, он сказал:

— Вот до чего мы с тобой дожили!

В эти несколько слов он вложил всю свою боль, все, что хотел сказать...

Вскоре я поговорил с Айзиком Вайнером, еврейским парнем из Ровно, который опекал и подкармливал всех новоприбывших в лагерь евреев. Первым делом Айзик должен принять меры, чтобы блатные со своими шестерками, прибывшие одним этапом с Бродерзоном и «положившие на него глаз», отцепились от него. Вскоре эти выродки поняли, с кем они имеют дело. Айзик им четко намекнул, что они плохо кончат, если не прекратят свои безобразия, которые чинили еврейскому поэту еще в лагере 045. Постепенно Мойше Бродерзон достиг прежнего душевного равновесия. На ближайшей медкомиссии его признали инвалидом, который может трудиться физически, но

им заинтересовался наш добрый доктор С., который распорядился, чтобы бригадир не посылал Бродерзона на тяжелые работы. Бродерзон тогда получил должность ночного дневального и почти все лагерные годы обязан был следить за пожарной безопасностью в бараке и еще за тем, чтобы не было краж. По утрам, услышав от охранника с вышки сигнал «подъем», он был обязан будить в бараке эков, а по вечерам давать команду «отбой». Но прежде обитатели барака во время должны становиться на вечернюю поверку. Короче, отвечал за соблюдение эками распорядка дня.

Еще в его обязанности входило следить за тем, чтобы никто в бараке не курил. Понятно, что во время своего дежурства он не имел права спать. Но со своим врожденным мягким характером и постоянными шутивными разговорами он не был слишком строг к себе и другим, за что не раз попадал в карцер.

Бывало, что лагерный охранник, внезапно ворвавшись в барак и застав дневального дремавшим над книгой, лил ему за ворот холодную воду.

Поэт Мойше Бродерзон выглядел птицей, случайно залетевшей в это проклятое место. Эковский номер на спине и штанах никак не вязался с его обликом. Правда, через месяц пребывания в лагере он стал воспринимать окружающий его мир с долей юмора.

Даже когда шла война в Корее (1950–1953), московская «Правда» по-прежнему продолжала публиковать поздравления Сталину в связи с его 70-летним юбилеем. В газете были две колонки под общим названием «Поток поздравлений», словно более важных событий в мире не происходило. Эти поздравления тянулись больше года, но однажды, в самый разгар корейской войны, газета вышла с передовицей о том, что... следует укреплять и развивать астрономическую науку.

— Знаешь, — сказал мне тогда Бродерзон, — с чем это можно сравнить? — Тут он показал рукой на утренний плац, на котором стояли эки по пять человек в ряд. — В лагере есть такая дурацкая игра: ээк бьет впередистоящего по плечу и отворачивается, глядя в небо, будто он ни при чем... Они там в Москве тоже бьют и затем придуриваются, глядя в небо...

Долго находиться в этом лагере нам с Бродерзоном было не суждено. Распространявшиеся вот уже несколько месяцев слухи о том, что лагерь переведут в другое место, на двести километров дальше, подтвердились. Нашей бригаде велели переносить все оборудование (станки и прочую технику) и содержимое складов на платформы к грузовым вагонам. При этом работали мы круглые сутки. Затем самих заключенных, переправляя на новое место, разбили на две большие партии — примерно по пятьсот человек в каждой.

Стоял жаркий июньский день, когда нас отправили по этапу. Мы с Бродерзоном попали в первую партию. Наше путешествие длилось трое суток в закупоренных вонючих вагонах, в страшной жаре. Кто был покрепче, занял нижние места, там не так жарко. Меня с Бродерзоном затолкали на самый верх. В эти трое суток пути (обычно такое расстояние поезд преодолевает за три-четыре часа) мы ничего не ели. С Бродерзоном часто случались обмороки, и лишь за несколько часов до прибытия к новому месту удалось упросить конвой, чтобы его перевели в санитарный вагон. Там его не хотели принимать, ссылаясь на отсутствие повышенной температуры. Ведь слабость и обмороки в советском лагере болезнью не считаются...

Тайшетлаг. Продолжение

Начальник лагпункта 051 капитан Ермилов прекрасно справлялся с возложенными на него обязанностями. Нас, около тысячи двухсот эзков, привезли в заброшенный лагпункт. После освобождения японских военнопленных, соорудивших этот лагпункт, обитавшие в нем спецпереселенцы (лица, выселенные из мест проживания в отдаленные районы страны), загадили лагерь до невозможности.

Вольные жители ближайшего небольшого поселка волокли из бараков доски, кирпичи, стекла и прочие материалы, которые в тех глухих местах были острым дефицитом. Можно сказать, что мы были почти на голое место — точнее, на развалины. Возле бараков лежали кирпичи из развороченных печей, в рабочей зоне валялись бревна и горбыль. Не было ни колодцев, ни пекарни. Склад для хра-



нения рабочего инструмента был разрушен. В полуразобранной столовой отсутствовали оборудование и мебель. Приказ Ермилова был таков: в течение двух месяцев лагерь должен стать самым благоустроенным в Тайшетлаге.

В ближайшее время в лагере планировали запустить так называемую ЦПМ (центральную пошивочную мастерскую) и мебельную фабрику. Предприимчивый начлаг заключил договор с руководством железной дороги об укладке водопроводных труб в траншею длиной в три километра.

Мы должны были вырубать окрестный лес, пилить древесину на доски, выполнять различные работы по контрактам, которые управление Тайшетлага заключило со многими предприятиями. Все эти виды работ, да еще материалы приносили управлению Тайшетлага солидный доход. Что там труд ээка — он ведь дармовой! Ко всему прочему надо было обустраивать собственный лагерь.

Мы спали на голом полу, питались на настиле из досок в недостроенной столовой, но через два месяца все бараки и прочие со-

оружия были отремонтированы, вся территория была тщательно убрана. Прибыли мы сюда в конце июня, а уже в августе в лагере был порядок.

Заключенных, которые физически не работают, Ермилов не признавал, называя их «ненужным балластом». Зэки обязаны трудиться, считал он. Доходяги вроде меня валили деревья, таскали на себе бревна, горбыль, доски, были на подхвате, то есть выполняли различные подсобные работы. Более слабые таскали на носилках битый кирпич, всякий мусор, месили раствор из глины и извести.

Одноногие инвалиды были организованы в бригады для производства гвоздей из толстой проволоки. Один еврейский писатель «специализировался» на распиловке бревен, что считалось в лагере престижным ремеслом. В те месяцы Мойше Бродерзон тоже включился во «всенародную стройку» — гасил в бочках известь и подавал наверх малярам, стоявшим на подмостях. Повторюсь: больных для начлага Ермилова не существовало. Санчасть не работала вообще. Наш доктор, зэк-украинец, очень порядочный человек, который старался делать больше своих ограниченных возможностей, освобождал больных, истощенных товарищей по несчастью на день-два от каторжного труда. Но в эти авральные месяцы, когда обустроивался лагерь, врач сам вынужден был выполнять тяжелую физическую работу.

Капитан Ермилов не раз во всеуслышание заявлял:

— Отдыхать будете потом. Сейчас все должны трудиться и выполнять «аккордное задание». То есть каждая бригада обязана выполнить весь объем работы. Пока лагерь не будет обустроен, не признаю никаких болезней. Забудьте про свои ревматизмы, боли в желудке, сердечную слабость и прочие симулянтские штучки.

Мы, зэки разных национальностей, каждый со своими достоинствами и недостатками, не говоря уже о внешних отличительных чертах, долго привыкали к жестокому самодурству Ермилова. Но приказ начлага выполняли: вместе трудились в каторжных условиях зоны — в снег и дождь, под злобные окрики конвойных. Колонной по четыре или пять человек в ряд мы шли на работу, поддерживая друг друга, чтобы не упасть, не остановиться или, не дай бог, создать ситуацию,

когда в тебя выстрелит конвойный. В суровые морозы, сгрудившись вокруг костра и тесно прижавшись друг к другу, мы курили одну на всех самокрутку с махоркой, довольствуясь двумя-тремя затяжками. И летом, когда нас сжирали комары, мы выручали друг друга. Нередко, когда у кого-то рвался накомарник, другой зэк отдавал ему свою марлевую маску, а сам намазывал себе лицо дегтем — комары этот запах не выносят и улетают.

Жизнь в лагере понемногу стала входить в нормальное русло. Зэки притерлись друг к другу, стали лучше понимать, кому можно доверять, а кого следует бояться. Вопреки запретам начальства заходили вечерами в чужие бараки, где мы, евреи, знакомились друг с другом. В лагере было много евреев из Москвы, которых посадили «из-за Голды», — в 1948 году они с энтузиазмом участвовали во встрече с первым посланником Государства Израиль в Советском Союзе Голдой Меир. Были тут и проходившие по «биробиджанскому делу» еврейские писатели, обвиненные в «национализме», и ассимилированные евреи, и старые партийные деятели, сидевшие еще в царских тюрьмах, а накануне войны обвиненные в троцкизме.

Кроме Мойше Бродерзона, меня и других еврейских писателей, в лагере было несколько журналистов и даже один киносценарист. Но душой нашей компании был Мойше Бродерзон. При всем своем подавленном состоянии он не переставал искрить шутками. Можно написать целую книгу о юморе Бродерзона. В те тяжелые, смутные дни его шутки поднимали нам дух; его сарказм и ирония были выражением нашей общей печали и горечи, которые мы глотали вместе с клейким хлебом.

В те кошмарные лагерные годы, когда, казалось, жизнь превратилась в ад, а замечательный еврейский поэт Мойше Бродерзон плакал, как ребенок, я по памяти записал ему стихотворение Хаима-Нахмана Бялика. Он это стихотворение спрятал и берег, как талисман. Мойше Бродерзон первым узнавал новости из Эрец-Исраэль, которые попадали сюда самыми невероятными путями. Еврейская страна стала его надеждой и утешением. Мысль об Израиле все эти годы не оставляла поэта...



Пиня, «Кол нидрей» и скрипка Страдивари

Что может быть лучше музыки? С детства я был очарован ее волшебными звуками. Они доносились из раскрытого окна самого богатого дома в моем городке. Там сидела голубоглазая принцесса и играла на фортепиано, очаровывая мелодией всю округу.

Вместе с сумерками уходила в небытие царица-суббота, и, слушая печальные хасидские мелодии, моя душа десятилетнего мальчика-хасида тосковала неведомо по ком.

Позже, когда я повзрослел и учился в варшавской ешиве, моему дяде Мойше-Довиду, у которого я проживал, привезли из филармонии старое пианино. Вот тогда-то я и познакомился с Бетховеном и Моцартом, Чайковским и Бахом, Верди и Мошковским. Мне было

так хорошо с этими прекрасными, никогда ранее не слышанными звуками!

Я готов был отдать многое за прекрасную музыку. Она звучит — и вся жизнь, весь мир становится сказкой. Музыка не исчезает, она звучит во мне до тех пор, пока мои веки не закрываются в блаженном ночном покое — так же, как никогда не засыпает мама, пока не уснет ее дитя...

Но почему так особенно грустно поют эти скрипки здесь, в проклятом лагере? Почему скрипки выводят такие странные марши, когда нас ведут на работу? Мелодии слетают с нот, сочиненных композиторами, которых отметил печатью таланта сам Всевышний. Эти мелодии почему-то перекликаются с моими детскими страхами.

Случилось это в Цехоцинеке, польском курорте для страдающих ревматизмом, куда бабушка взяла меня с собой, когда мне было всего шесть лет. Там какой-то сумасшедший вытащил Свиток Торы из синагоги и осквернил его.

Я присутствовал на погребении оскверненного Свитка Торы, участвовал в похоронной процессии и плакал вместе с тысячей евреев, и звучала мелодия — плач по поруганной святыне...

Начальник лагеря номер 051 капитан Ермилов к музыке был не просто равнодушен, — он был к ней глух как стена, но все же содержал неплохой оркестр. Таково было указание сверху: музыка воодушевляет заключенных на труд, что, естественно, повышает их производительность. До отсидки капельмейстер Кузьменко играл на городских и деревенских свадьбах на Украине. Здесь же, в лагере, он исполняет «Турецкий марш» Моцарта, под звуки которого эки отправляются на работу.

Вокруг раздаются окрики конвойных, вооруженных автоматами и сопровождаемых десятком злых овчарок. Охранники строят нас в колонну по пять человек и объявляют:

— Шаг вперед, шаг влево — побег, конвой применяет оружие без предупреждения!

Что общего между Пиней и начальником лагеря? И на что он началу Ермилову вообще сдался? О, это отдельная история.

Провожать эзков на работу с музыкой до самых ворот лагеря Пиня, оказывается, не желает. Играть — пожалуйста, но чтобы шагать вместе с оркестром за ээками — ни в коем случае. Такой, видите ли, у него принцип. Не хочет позорить скрипку... Что же с Пиней произошло? Начлаг Ермилов никак не возьмет в толк. Когда-то Пиня был второй скрипкой и концертмейстером в московской опере. В лагерь он отправился, взяв с собой скрипку Страдивари, цена которой... 18 тысяч рублей. Бухгалтера лагерной конторы, узнав о ее неслыханной цене, едва уговорили нашего начальника, что с такой скрипкой Пиня принесет больше пользы, чем посылать его в тайгу пилить деревья. Лучше пусть на своей скрипке солирует на концертах, которые лагерное начальство устраивает раз в месяц. Правда, у Пини один существенный недостаток — он еврей...

Восемь лет трудовых лагерей — наказание, которое отбывал Пиня, считалось у эзков «детским». Хотя статья, по которой он сел, была уж очень паскудной — «еврейский националист». Тогда по такой статье было арестовано немало евреев.

Как-то его брат, проживавший за границей и соскучившийся по родному человеку, написал ему, что имеет сильное желание приехать в Советский Союз. Пиня ему ответил очень кратко: «Сиди и не рыпайся!» В этом же письме Пине захотелось рассказать еще кое о чем. Это было время, когда государство Израиль отправило в Москву своего первого дипломатического представителя, и Пиня не мог скрыть восторг по этому поводу.

Об этом знает в лагере наш нарядчик Нестеренко и по этой причине имеет зуб на «матерого еврейского националиста» Пиню. Но капельмейстеру Кузьменко наплевать на «национализм», он завидует нашему Пине из-за того, что тот обладает скрипкой самого Страдивари.

Желания Нестеренко и Кузьменко совпали и, сговорившись, они порешили: нечего Пине пикировать на скрипке, пусть, как и остальные ээки, свою вину перед Советской Родиной искупает физическим трудом... Нет, на лесоповал его не отправили, остался в пределах зоны,

обеспечивая бараки топливом: пилил бревна и колол чурки на дрова.

Наш добрый врач-украинец С. был против затеи с трудоустройством скрипача. Давление у Пини зашкаливало, и при малейшем физическом напряжении ему грозила катастрофа. Но начал Ермаков, как известно, признавал лишь одно доказательство болезни — повышенную температуру. Освободить от работы могут лишь при температуре 37,6 градуса. Но у Пини почему-то жара не наблюдалось, хотя по пять часов в день он пилил и колол дрова.

Вечерами, придя с работы, он чувствовал себя смертельно усталым. Передохнув часок, брался за скрипку и выдавал волшебные звуки. Мы оба — я и Бродерзон — сходили с ума, едва заслышав скрипку Пини.

«Пиня не просто гений, — заметил Бродерзон, — а мастер с тонкой исполнительской техникой. Вот слушаю его «Каприччио» Паганини и забываю, что нахожусь в лагере. Когда он исполняет «Баркаролу» Чайковского или ноктюрн Глинки «Расставание», моя душа летает».

Пиня играет, а мы сгрудились возле него, переглядываемся и не узнаем друг друга: мы ли это, одетые в ватники с номерами на спинах и наголо стриженными головами? И в центре — Пиня со скрипкой. Фантазмагория какая-то... Принц и нищий поменялись ролями...

На сердце становится так легко и тепло, что начинаешь верить: все люди — братья. И нечестивцы тоже братья? Но есть стих в Священном Писании: «... Да исчезнут нечестивцы».

О Пине ходили легенды по всем лагерным пунктам Тайшетлага.

— Вы слышали, как Пиня играет? — спрашивал один зэк другого.

Пиня был невысокого роста, с красными веками, спокойный и добрый.

Однажды я ему сказал, что готов целую ночь работать вместо него только ради того, чтобы он сыграл «Испанский танец №7» Мошковского.

— За меня никто не должен работать, я в этом не нуждаюсь, — гордо ответил Пиня.

Был он прямолинеен и упрям. Говорил только по-русски, потому что ни слова по-еврейски не знал. Всю свою недолгую жизнь работал

среди русских людей. Он был семейным другом великих певцов Лемешева и Козловского. Но сердце ему досталось еврейское.

Однажды он решил, что в программу одного из ближайших лагерных концертов включит «Кол нидрей»¹ немецкого композитора Макса Бруха². Его отговаривали, но Пиня был упрямым евреем. Уперся, что не будет играть в оркестре, если ему не разрешат исполнить «Кол Нидрей». Кузьменко был против этой затеи.

— Що таке «Кол нидрей»? — злился он.

Но Пиня рьяно защищал свою идею:

— Если мы играем немецкую музыку, то почему не можем исполнить и еврейскую мелодию?

Еврейский номер программы Пини так долго муссировался, что слух о нем дошел до самого верха — в управление Тайшетлага, где сидел, говорят, офицер-еврей. То ли этот факт повлиял на решение начальства, то ли что-то другое, но наверху, в лагерной конторе, как ни странно, утвердили репертуар, и Пиня играл «Кол нидрей».

Все вечера подряд, до поздней ночи, Пиня готовился к концерту — репетировал номер. Почему-то в глубине души он был уверен, что этот концерт станет его лебединой песней. И мелодия «Кол нидрей» в исполнении Пини зазвучала, но не в пору листопада, а заснеженной сибирской зимой, в 600 километрах от Иркутска — в далеком таежном каторжном лагере...

Кол Нидрей...

Было нас там несколько десятков евреев. Совершенно разные по происхождению и воспитанию, по взглядам и характерам. Среди нас были мудрые евреи из Самарканда, любавичские хасиды, которые в сложных условиях придерживались канонов Торы и ха-

¹ «Кол нидрей» (арам.) — «Все обеты». Первые слова молитвы, читаемой в Йом-Кипур.

² **Макс Брух** (1838, Кельн — 1920, Берлин) — немецкий композитор. Родился в католической семье, автор многих музыкальных произведений. В нацистской Германии Брух попал в «черный список», поскольку гитлеровцы ошибочно полагали, что Макс Брух, написавший «Кол нидрей», был евреем.

сидского учения, не притрагиваясь к некошерной пище, сваренной в лагерной кухне, питаюсь лишь скудным хлебом и селедкой.

До сих пор не пойму, откуда у моих соплеменников бралась сила для непосильного физического труда? И на работе, и после нее, уже в бараке, они подбадривали своих собратьев изречениями из Талмуда, притчами и нравоучительными рассказами из Агады, чудесными байками цадиков — мудрых, благочестивых праведников.

Были среди нас и евреи-большевики — старые партийные деятели, работавшие еще при Ленине. Их, отсидевших по десять лет в тюрьмах, снова арестовали и отправили в исправительно-трудовые лагеря за «троцкизм». Попадались известные инженеры, проектировавшие и сооружавшие великолепные мосты; были и простые люди из народа, упрямые и твердые, как железо, которые не сумели спрятать своих радостных чувств, узнав о великом чуде, свершившемся в истории нашего народа, — возрождении Государства Израиль, за что и поплатились огромными сроками. Пребывали в нашем лагере и еврейские писатели, испытывавшие все «преlestи» следствия. Они очутились здесь лишь за то, что несли евреям культуру на языке, который впитали с молоком матери — мамэ-лошн...

Все мы иногда ругались между собой, ссорились, но сегодня, на концерте Пини, мы собрались все вместе и, слушая музыку, роняли слезы.

Кол нидрей...

Божественное присутствие этой мелодии о многом говорило и утешало: «Не отчаивайтесь, дорогие евреи, вы выстояли и в более тяжелых испытаниях, знайте и помните — «Вечность Израиля не обманет!»

Хотя сам Пиня не знал по-еврейски ни слова, за него говорила скрипка. Ее слушали несколько поколений евреев. А сейчас она утешала нас, эзков, ободряла и внушала веру в жизнь. Все, что нас разделяло, распалось и исчезло. Мы — дети одного народа, прошедшего тяжелые испытания, живущего в муках, но сопротивляющегося, потому что он надеется и верит в завтрашний день.

Это был последний концерт Пини.

Поднимать тяжести ему было противопоказано из-за гипертонии.

Лагерный врач пытался добиться у начальства послаблений для Пини, но не смог. Это было самое тяжелое время сталинского террора, и каждый подонок имел возможность издеваться над нами. Как, например, этот мерзкий тип, распределявший работу, нарядчик Нестеренко.

Однажды, вернувшись с работы, Пиня почувствовал себя плохо и потерял сознание. Мы отнесли его в санчасть, и через два дня Пини не стало. Врач установил причину смерти: кровоизлияние в мозг.

Обычно умершего зэка, словно мешок гнилой картошки, бросали на телегу и увозили на кладбище. На этот раз мы, евреи лагеря, решили поступить по-другому и проводили покойного в последний путь до самых ворот лагеря.

За нарушение лагерного режима мы: поэт Мойше Бродерзон, еврейский поэт из Бессарабии (он поныне жив и поэтому не могу назвать его имя) и автор этих строк получили по трое суток карцера. Капельмейстер Кузьменко сразу же хотел конфисковать скрипку Страдивари, принадлежавшую Пине, но мы как-то вовремя умудрились написать и отправить письмо в Москву, жене покойного, сообщив ей о смерти мужа и оставшейся скрипке. Лагерное начальство даже не удосужилось сообщить близким о кончине Пини. Только после смерти Сталина вдова Пини сумела забрать принадлежавшую покойному мужу волшебную скрипку Страдивари.

Медкомиссия

Раз в три-четыре месяца в каждый пункт Тайшетлага наведывалась «комиссовка» — так зэки называли медкомиссию, устанавливающую причины и степень инвалидности, годность к работе.

Подобное освидетельствование я проходил в лагерях десятки раз. В мгновение ока из инвалида превращался в здоровяка; из инвалида второй группы меня переквалифицировали в инвалида третьей, а потом и четвертой группы. В большинстве случаев это зависело не от расположения звезд, а от настроения врача. Чаше — от какой-нибудь молодой девицы, недавно вставшей с институтской скамьи.

Комиссия состояла из вольных врачей, но в обязательном порядке

присутствовал и врач из числа заключенных, от мнения которого иной раз зависела судьба ээка. Жаловаться на нашего доктора-украинца С., включенного в состав комиссии, не приходилось, поскольку он, специалист в своем деле и человеколюб, отстаивал перед врачами в погонах каждого лагерника, главным образом, перед хирургом центральной больницы Тайшетлага капитаном Нельгой — еще той стервой.

Черт знает, откуда в этой здоровой, упитанной самке взялось столько злобы и ненависти? Поговаривали, что эта широкоскулая особа извела первого мужа, инженера, из-за его половой слабости, доведя его до смерти, и сейчас ей достался второй — начальник лагерной охраны, который тоже в этом деле был не на должной высоте. В каждом случае она искала повод сбавить заключенному категорию инвалидности, переqualифицировать его во вторую группу, что неминуемо означало отправку на трудоемкие работы — прежде всего, в тайгу.

В основном осмотры заключенных подобными комиссиями проходили в лагерной бане. Из каждого барака в алфавитном порядке вызывали инвалидов, которые раздевались в предбаннике и ожидали своей очереди. Ээки со стажем знали, что лучше попасть к любому другому врачу, чем к Нельге, но нарядчик суетился и здесь: командовал очередью и выдавал номерки прямо к этой стерве.

Комиссия во главе с Нельгой и на сей раз собрала «солидный урожай». Нетрудоспособные калеки вмиг превратились в инвалидов второй категории, способных работать. Лагерные начальники разных рангов как могли эксплуатировали инвалидов всех категорий. Нередко использовали калек и полукалек, в основном шестидесятилетних, на тяжелых работах, наравне с инвалидами первой и второй категорий. Запомнился случай, когда на одной из комиссий, заседавшей в лагере номер 051, известные латвийские социал-демократы К. Элиас и К. Лоренц, семидесятилетние старики, были признаны работоспособными инвалидами. Их отправили на распиловку бревен, расчистку сугробов и прочую нелегкую работу. Знаю, потому что несколько лет они находились со мной в одном лагере; на свободу их выпустили лишь в 1955 году.

На заседании той же комиссии поэт Мойше Бродерзон был признан трудоспособным, несмотря на дюжину болезней, от которых он страдал. До прихода следующей комиссии его принудили выполнять тяжелые виды работ.

Наша бригада разделилась пополам: нетрудоспособные остались в зоне, а остальных, признанных годными к физическому труду, присоединили к ремонтной бригаде во главе с Крючковым.

Наша задача заключалась в ремонте бараков, в которых проживало несколько десятков семей из небольшого поселка, примыкающего к лагерю. Все эти местные жители работали в администрации лагеря бухгалтерами, экспедиторами, диспетчерами, контролерами, телефонистками и телеграфистками, заведующими складами готовой продукции, а также продовольственным и вещевым складами и овощехранилищем. К администрации в первую очередь отношу лагерное начальство и, разумеется, охрану. Все эти люди получали неплохое жалованье и, кроме того, распоряжались дармовой рабочей силой. Мы, эки, обслуживали их, ремонтировали жилища и убирали дворы, которые выглядели гораздо запущенней и грязней территории нашего лагеря, пилили и кололи дрова и приносили воду.

Разумеется, на каждом шагу эки видели, как эта многочисленная каста привилегированных людей, ни к чему не пригодных, без особых знаний, часто без способностей к какому-нибудь ремеслу, гниет и паразитирует за счет народа, получая к тому же вместо несчастных калек премии за выполнение месячных планов.

Многие женщины из паразитирующей касты ленились выполнять даже самую простейшую домашнюю работу, пьянствовали вместе с мужьями и занимались любовными интрижками.

Насколько деградировали бездельники и дармоеды в погонах, состоящие на службе во внутренних войсках, говорит количество преступлений чисто уголовного характера, которые они сами совершали. Так, сержант-сверхсрочник из лагерной охраны изнасиловал свою падчерицу — малолетнюю девочку и получил за это десять лет тюрьмы.

В соседнем лагере, где содержались одни женщины, тамошний начлаг «влюбился» в эзку-нарядчицу и стал с ней сожительство-

вать. Этого не смогла перенести его прежняя любовница, охранница из этого же лагеря, и в отместку доложила высшему руководству. Любвеобильный начлаг не нашел другого выхода из положения, как выпустить в бывшую любовницу пять пуль из личного пистолета. За убийство ему дали двадцать лет. Подобных авантюрных историй во время моего пребывания в лагере случалось немало.

Должен сказать, что мне встречались и хорошие люди, настоящие представители русского народа. Однажды я был свидетелем неожиданного проявления симпатии к «врагам народа».

Нас перевозили из одного лагеря в другой, и на какой-то станции охранники открыли запечатанные вагоны, чтобы напоить водой томившихся внутри эзков. Небольшое армейское подразделение, кажется, взвод, ожидавший на перроне прибытия своего поезда, нас буквально забросал буханками хлеба, сахаром и махоркой. Наша «родная» эмгэбэшная охрана пыталась этим действиям воспрепятствовать. Завязалась драка. Военный комендант станции занял сторону эмгэбэшной охраны, никого из вертухаев не арестовал, хотя драку затеяли именно они. Наоборот, комендант задержал отправку нашего эшелона до «особого распоряжения», пытаясь привлечь к ответственности в качестве зачинщиков драки солдат, проявивших к ээкам милосердие.

Когда я выразил восхищение простыми русскими солдатами, пожилой ээк с большим стажем отсидки сказал:

— Чему вы удивляетесь? Каждый из них наверняка имеет родственника, друга или просто знакомого, который мытарится в лагере...

Я убедился, что сталинская паранойя и деспотизм все-таки не всем до конца затуманили мозги. Народ знает о своем бесправии и сочувствует безвинным заключенным. Страх и боязнь оказаться по ту сторону колючей проволоки вынуждают их молчать и бунтовать втихаря — в душе.

Авраам-Хаим и сефардские евреи

В еврейскую «колонию» нашего лагеря добавился новый элемент — сефарды. Речь идет о бухарских евреях. Арестовали их позже, чем

нас, в начале 1950-х, когда приговоры сыпались на головы безвинных людей как из решета. Да и наказания у бухарских были более жесткие, чем наши. «Преступления», за которые до 1950 года давали десять лет, в ту пору, когда судили сефардов, «оценивали» уже в 15 и 25 лет.

Группу бухарских евреев из Самарканда возглавлял ташкентский раввин Авраам-Хаим, чей светлый образ мне особенно врезался в память. И сегодня его честные глаза смотрят на меня с немим укором. Точно так же, как и светлый взгляд Меира-Ихила Галеви, молчаливого раввина из моего городка Острив-Мазовецки, из давней юности. Этот цадик, обучавший меня, выглядел так, будто все сорок лет рабства, во время исчезновения Божественного присутствия в Святой Земле, воздерживался от трепной еды.

Вообще-то Авраам-Хаим из Ташкента не был ни равом, ни гаоном. Но его удивительное тонкое лицо, величавый вид, глубокие черные глаза действовали завораживающе даже на неевреев. «Раввина Аврама» — так мы все его называли — заключенные побаивались и одновременно уважали.

Как я уже сказал, этот еврей не был раввином; он был простым работягой, живущим от своего красивого ремесла, но какой это был праведник!

В том жестоком и бессмысленном мире, который нас теперь окружал, один его взгляд делал всех нас благородней и человечней. Еще он мне напоминал живого ребе Мойше-Лейба из Сасова¹. На своем сефардском иврите (многие бухарские евреи знали иврит, а также узбекский и таджикский) Авраам-Хаим поведал о своем «прегрешении», за которое был арестован. Некоторое время назад в Самарканд прибыл любавичский хасид и распространял учение рава Шнеура-Залмана из Ляд² в среде бухарских евреев.

Авраам-Хаим стал одним из самых горячих приверженцев док-

¹ **Рабби Мойше-Лейб Эрблих** (1745–1845) из Сасова, Восточная Галиция. Основатель хасидской династии.

² **Рабби Шнеур-Залман из Ляд** (Алтер Ребе, 1745-1813) — каббалист, основатель движения ХАБАД.

трины ХАБАДа (любавичского хасидизма), изучал с местными евреями философское творение Алтер Ребе — книгу «Тания», постигая ее мудрость. Кроме того, Авраам-Хаим построил при синагоге микву.

«Доброхоты» также донесли в органы, что он слушает по радио «Голос Израиля» из Иерусалима. Этого было достаточно, чтобы дать ему 15 лет лагерей. Когда Авраам-Хаим запротестовал, ему прибавили еще десять. Таким образом, к нам он прибыл с солидным приговором — двадцать пять лет. За схожие «преступления» сидели и остальные бухарские. В лагере они обычно держались обособленно. Кроме хлеба, сахара, селедки и бурды из мороженной рыбы, они ничего не ели, хотя рацион состоял еще из тощих капустных щей, двухсот граммов пшеничной каши и трех граммов растительного жира.

В первую субботу каждого месяца «бухарцы» собирали миньян и молились. Так как им до десяти человек не хватало одного, то они приглашали ашкеназа, который ввиду болезни в этот день оставался в бараке. Поскольку всем восточным евреям перевалило за шестьдесят, то даже начлаг Ермилов, не отличавшийся особой добротой, оставлял их на хозяйственных работах: убирать бараки, чистить на кухне картофель, подносить воду и заготавливать дрова для столовой.

Находящимся внутри зоны можно было, откупившись, отпроситься у нарядчика с работы на час-другой. Дело в том, что бухарские евреи получали из родных мест восточные сладости, перед которыми нарядчик Нестеренко не мог устоять: это был урюк — сушеные абрикосы, из которых его «шестерки» варили для него компот.

Авраам-Хаим заходил к нам, ашкеназам, в бараки, когда мы, измотанные, приходили с работы. Каждому он уделял время, с каждым беседовал. Иногда сефарды высказывали ему претензии: мол, что общего у тебя с этими неверующими? Но рав Авраам-Хаим в каждом человеке искал что-то положительное, для каждого у него находилось доброе слово.

Не раз он пересказывал нам притчу про рабби Акиву¹ и Папуса бен

¹ **Рабби Акива бен Йосеф** (примерно 50–132) — один из величайших ученых в истории еврейского народа. Осужден римлянами за обучение людей Торе и приговорен к смертной казни.

Иегуду. Они были захвачены в плен римлянами, а потом Папус бен Иегуда воскликнул: «Блажен ты рабби Акива, ибо ты был схвачен за слова Торы, и горе Папусу, который был схвачен за ничтожные деяния».

Однажды я сказал ему: «Реб Авраам-Хаим, дорогой вы наш, благодаря вам мы живы». А он разозлился и закричал: «Я нечестивый нечестивец и потому я оправдываю страдания, обрушившиеся на меня, а ты внук святого еврейского мученика, я уверен, что ты не умрешь, не покавшись».

Этот благочестивый еврей знал всю книгу псалмов наизусть. Не раз по чьей-нибудь просьбе он переписывал тот или иной псалом, говоря при этом:

— Хотя ты и нерелигиозный, но посмотри, сколько в нем красоты!

Вспоминаю такой случай. Кто-то из заключенных получил посылку, в которой был шмат свиного сала. Как и положено в лагере, он поделился содержимым посылки с другими эками. Кому-то из евреев тоже перепал кусок сала, которое было в лагере большой редкостью. Люди работали на морозе, и тощему организму эка сало не помешало бы. Через несколько лет после того, как начал Ермилов благоустроил зону, наладил лагерную жизнь и производство, довольный достигнутыми результатами и похвалой вышестоящего начальства, он разрешил экам дополнительную кухню — то есть они теперь могли готовить себе сами из полученных из дому продуктов.

Бухарские евреи воспрянули духом. Впрочем, не только они. Отдельной кухней стали пользоваться и эки-мусульмане: узбеки, таджики, казахи, азербайджанцы и другие, не употребляющие свинины. Иной раз они даже жарили баранье мясо, которое им присылали из дому.

Так вот, тот ашкеназ, которому достался кусок сала, решил его пожарить. Мусульмане тут же пожаловались Аврааму-Хаиму:

— Смотри, что делают твои евреи!

Благочестивый Авраам-Хаим, безукоризненно соблюдавший традиции, постившийся в лагере каждый понедельник и четверг и даже во время работы произносивший псалмы, улыбнулся провинившему-

ся еврею-ашкеназу, махнув рукой в сторону своих земляков:

— Не обращай на них внимания! Ты же вкалываешь покаторжному в тайге. Да и из дому тебе никто ничего не шлет. Так что для тебя — это Пикуах Нефеш, спасение жизни.

Ашкеназ был настолько потрясен добротой Авраама-Хаима, что не решился есть трефное, чтобы не огорчать благочестивого еврея, реб Авраама-Хаима.

На волю наши братья, бухарские евреи, вышли первыми. Возможно, здесь сыграла свою роль апелляция, поданная от их имени Мойше Бродерзоном, которую он написал на великолепном русском языке, или то обстоятельство, что обвинение против них выглядело уж слишком комичным и бросалось в глаза своей нелепостью. Как только после ареста Берии стали рассматривать апелляции, каждому из них отменили 20- или 25-летние приговоры. Заключенные с 5-летним сроком вышли по амнистии. Таким образом был освобожден и Авраам-Хаим.

Когда он покидал лагерь, до ворот его провожали несколько десятков евреев, а также неевреев, видевших в нем «святого раввина Абрама». Они просили его на воле заняться их судьбой, чтобы они могли быстрее покинуть проклятый лагерь...

Еврейка из Риги

«Сегодня у меня особенный праздник: мой единственный сын, моя кровиночка, стал бар-мицва — сыном заповеди. Его нет со мной рядом, но я храню его фотографию, которую зацеловала и оросила слезами. Узнав о моей радости, еврейки-заключенные, сестры по несчастью, пришли меня поздравить. Мы устроили что-то вроде маленького домашнего торжества. Несколько дней сберегали все лучшее из еды, чтобы отметить бар-мицву моего сына, который от меня сейчас так далеко... Кто знает, увижу ли я его еще когда-нибудь...»

Это одно из писем, которое молодая еврейская женщина из Латвии писала нам, зэкам-евреям, из лагеря номер 040, находившегося в трех километрах от нашего. Различными путями и способами эти

послания передавались из ее лагеря в наш. Поскольку она в настоящее время здравствует, то, по понятным причинам, назову ее вымышленным именем — например, Розой. По соседству с нашей зоной в женском лагере особого режима находилась и центральная больница (тоже женская). Это медучреждение действовало в Озерлаге, который входил в обширную систему Тайшетлага. Наш лагерь № 051 имел производственные контакты с Озерлагом. Тех из нас, кто был посильней, покрепче, посылали туда на различные работы, например, выкопать колодец, соорудить новую дизель-электростанцию. В жилах этих эков кипела молодая кровь, и лагерное ограждение для них не было препятствием, чтобы завязать знакомства с женщинами, обслуживающими больницу. Кстати, эти парни и передали нам привет от нескольких еврейских женщин, которые там работали. Одна из них — Роза из Латвии — работала фармацевтом. За пачку махорки Роза попросила парней узнать об одном еврее, тоже из Латвии, — писателе Р.¹, нашем солагернике.

Вскоре между Розой и писателем Р. завязалась дружеская переписка. В этой эпистолярной связи участвовали все еврейские писатели нашего лагеря. В длинные, подробные письма к Розе писатель Р. вкладывал весь свой талант, но и Роза в этом жанре показала не меньшие способности. Удивительная, незнакомая еврейская женщина из Латвии писала на великолепном идише, рисуя ясную и подробную картину разгрома еврейской культуры и ее творцов. Какой жар любви к нашему народу и веры в лучшее исходил от ее писем! Казалось, что это пишет не просто приверженка еврейского слова, почитательница еврейского писателя Р., но и мать. Нам она действительно казалась настоящей еврейской мамой, утешающей своих детей. Роза стала для нас своего рода объектом постоянного интереса.

— Ну, что Роза сегодня написала? — интересовались писатели у Р. Мы говорили о ней, как о еврейской праведнице, поборнице чистоты нравов. Роза напоминала мне другую женщину, тоже праведницу, которую я встретил в своих скитаниях по Советскому Союзу.

¹Еврейский писатель Р. — Марк Разумный (1896, Жагоры, Ковенская губ. — 1988, Рига) — новеллист, поэт, драматург. Отбывал наказание в Тайшетлаге (1950–1956).

...Было это в январе 1942 года в Новосибирске, когда я после тяжелой глазной травмы, полученной в рабочем батальоне, попал в военный госпиталь. Глазное отделение, в котором я находился, соседствовало с ларингологией. Я был пациентом «со стажем» — после сложной, но удачной операции, которую провел профессор-офтальмолог Арон Абрамович Колен.

Прогуливаясь однажды по коридору госпиталя, я увидел стройную женщину с нежными чертами лица. Она стояла, глядя в окно, и с большим трудом сдерживала слезы. Я затеял с ней разговор; она же, сразу узнав во мне соплеменника, пыталась выговориться.

Сама она родом из Вены. Родители были очень религиозными людьми и в таком же духе воспитали дочь. Когда нацисты захватили Вену, она вместе с мужем-инженером эвакуировалась в Советский Союз. В первый же год войны ее с мужем и маленькой дочкой отправили как подозрительных элементов в сибирский ссыльный лагпункт. Их доводы, что, будучи евреями, они ничего общего не имеют с нацистами, не возымели никакого действия. В лагере их девочка тяжело заболела. Матери разрешили находиться с ребенком в больнице, но под присмотром конвойного. И вот сегодня, в пятницу вечером, девочка умерла. Я стоял рядом и видел, как мать, которая только что потеряла ребенка, убивается по своей кровиночке, по своему единственному дитя, но душит в себе слезы, ибо в Субботу плакать нельзя. Мне тогда казалось, что сама прамактерь Рахель скорбит по своим детям. Сколько лет прошло, а у меня перед глазами по-прежнему стоит эта убитая горем женщина. Роза из Риги, заключенная из соседнего лагеря, напомнила мне почему-то эту несчастную женщину.

Мы регулярно отвечали на письма Розы. При выходе за пределы лагеря на работу и по возвращении охранники тщательно обыскивали всех заключенных, с особым усердием проверяли телеги с рабочим инструментом для бригад, но мы умудрялись прятать письма, засовывая их в лошадиные хомуты.

В последних письмах Роза жаловалась, что ее домогается больничный техник-рентгенолог — бесконвойный зэк. «Он в меня влюблен, — писала нам Роза, — но я отвергла его и пресекла его намерения...» К тому же, сообщала далее Роза, на нее «положил глаз»

офицер из лагерной администрации. Но поскольку она не обращала внимания на его ухаживания, офицер стал к ней придирааться и донес начальству о якобы профнепригодности Розы, хотя она была одним из лучших фармацевтов во всей системе Тайшетлага.

Вскоре Роза известила нас, что ее снимают с должности и собираются отправить в соседний лагерь на тяжелые сельхозработы. Тем не менее она счастлива, так как избавляется от этих двух типов, докучавших ей своей «любовью».

Когда Розу перевели в другой лагерь, то у нее не сразу появилась возможность перебросить нам письмо. Она освободилась чуть раньше нас, в начале 1955-го, когда вышел закон о том, что лица, арестованные по политическим и уголовным статьям и отбывшие две трети срока, могут выйти на свободу, если они не совершали новых преступлений... Но оказаться на свободе еще не означало вернуться домой. Большая часть выпущенных на волю так в Сибири и осталась в качестве «переселенцев», а точнее — ссыльных. В зоне они, конечно, не находились, но территория их передвижения была ограничена, и за ее пределы выезжать куда-либо было запрещено.

Китайцы и другие

Положение двух десятков евреев в нашем лагере было довольно сложным. Зачастую в свой адрес приходилось слышать колкости и насмешки, а то и просто терпеть издевательства. И все же остальные эки завидовали нам — нашему, как им казалось, единению, хотя мы, евреи, иногда спорили между собой и даже ругались, будучи людьми разных убеждений: от ортодоксальных раввинов до идейных партийцев-большевиков. Некоторые из нас, усвоив горький урок пережитого, делали определенные выводы; другие, застывшие в догмах, считали, что все, что спускается партией, самое верное и правильное. Тем не менее в глазах окружающих евреи выглядели дружной командой, соответствуя нашей поговорке: «Гекнипт ди бакн ун гештэлт ди фарбн» («Щипали себя за щеки, чтобы быть румяными»).

Когда на еврея нападала хворь, каждый из нас приберегал что-нибудь из еды и нес больному в лагерный стационар. Как-то у одного портного произошла ссора с бригадиром. Другие евреи, работающие в швейной мастерской, единодушно встали на защиту соплеменника. Как я уже писал, портные и закройщики были на особом счету, и начальство пошло им навстречу и перевело этого портного в другую бригаду.

Представители девятнадцати других национальностей, обитающих в лагере, почему-то завидовали нам, даже хорошо организованная группа украинцев-«западенцев». Хотя, должен заметить, и у них можно было кое-чему научиться: например, конспирации, умению держать многое в секрете, даже бастовать и вообще устраивать начальству всякие подлянки.

О немцах и говорить нечего: подбить их на какую-нибудь акцию против установленного порядка было весьма непросто. На их лицах всегда висела вежливая улыбка, они были предупредительны и учтивы. Даже после смерти Сталина их с трудом можно было подвигнуть на какие-либо выступления против лагерного начальства. «Йеки», как называли евреи немцев, привыкли к дисциплине; бунт — не для них, они привыкли выполнять любые приказы — будь то фюрера, будь то лагерного начальства...

Другим приметным народом, державшимся в лагере обособленно и вызывавшим к себе не только внимание, но и сочувствие, были китайцы. В основном это были весьма состоятельные люди, «виновные» лишь в том, что они проявляли симпатию к Чан Кайши¹ и к высокопоставленным офицерам его армии.

В лагерях, где мне приходилось отбывать срок, китайцы обычно занимались своим специфическим делом: стиркой белья в прачечной и работой в бане. Незнанием русского языка они просто вызвали жалость и зачастую не понимали ругательств, сыпавшихся со сторо-

¹Чан Кайши (1887–1975) — военный и политический деятель Китая, возглавивший Народную партию (Гоминдан) в 1925 году, президент Китайской республики и генералиссимус. Когда в 1949 году власть в стране полностью взяли коммунисты, гоминдановскому правительству пришлось бежать на о. Тайвань.

ны начальников и охранников на их бедные головы.

Работа в прачечной, как и в бане, была довольно тяжелой. Обеспечивать себя водой они должны были сами: каждый день ее требовалось натаскать из колодца. Особенно тяжело приходилось в зимние месяцы, но китайцы не роптали: молча, добросовестно выполняли свои обязанности. И администрация лагеря, и эски были довольны их работой.

Баня была единственной отрадой в лагерной жизни, и благодаря китайцам она всегда была готова вовремя. В морозные дни жарко натопленная баня была единственным местом, где эски могли согреться. В летнюю пору, когда нас загрызала безжалостная мошкара, мы каждый вечер после работы приходили в баню, чтобы отмыться от смолы, пота и грязи. Китайцы, хозяйничающие в этом заведении, проявляли по отношению к нам великое терпение. От них никто и никогда не слышал дурного слова.

Так сложилось, что хозяйственная служба лагеря некоторое время не могла подобрать поваров в столовую. Причина была одна: поваров терроризировали эски-уголовники, которые тащили из кухни продукты, приготовленные для варки.

Тогда из прачечной на кухню перебросили двух китайцев, определив их поварами. Кулинары они были отменные, первоклассные, как говорится, — было бы только из чего готовить. Они мастерски колдовали над едой, искусно сочетали продукты, готовили, казалось, из ничего, и каждый вечер — что-нибудь новенькое. Пересоленную сельдь они сначала вымачивали, добавляя невесть откуда взявшиеся уксус и горький перец, и получалась вкусная маринованная селедка. Из небольших порций пшенной каши они делали горячие сухарики, заливая их подливой, приготовленной из муки. Они никогда не отказывали, если кто-то просил их поджарить на кухне клейкий хлеб. А тем, кто с кухни умыкал съестное, китайцы дружно поставили заслон: вечерами дежурили на кухне, охраняя от нашествия воров продукты, полученные со склада.

Китайцы в лагере обладали еще одной монополией: на кипяток. Заварка в лагере была большим дефицитом, но китайцы делали из поджаренных желудей своего рода цикорий, из которого получался

напиток, напоминающий кофе. В суровые морозы мы шли к китайцам на кухню, в их «кипятилку», — греться кипятком.

Зэки добродушно подшучивали над китайцами. На вопрос: «За что сидишь?» ответ был один: «Моя — чпион!» В общем, все понятно.

Большинство китайцев были осуждены за шпионаж, и меньше десятки никто из них не получил. Особенно обращал на себя внимание Ли Фу, занимавший высокий пост в чан-кайшистской армии. Как и многих других, его отправили из Пекина в советский лагерь, в далекую Сибирь. Общались мы с ним при помощи русских эмигрантов из Харбина, Мукдена и других городов.

Ли Фу был очень умным человеком и хорошо ориентировался в происходящем. Своим поведением он напоминал brave солдата Швейка и однажды даже переиграл начальника лагеря Ермилова, который хотел отправить его на лесоповал. Семидесятилетний Ли Фу, несмотря на плохое зрение, был проворным малым, и, как все его соплеменники, пропадал в прачечной. Там он веселил публику, изображая сценку, в которой пародировал следователя, пытающегося на допросе сделать из него «шпиона». Наблюдая за этим «концертом», зэки буквально катились от смеха. Кто-то донес об этом «представлении» Ермилову, и начлаг, рассвирепев, велел отправить полуслепому Ли Фу работать в тайгу. Китайцы дружно возмутились этим решением, угрожая остановить работу на кухне, в бане и прачечной. Узнав об этом, начлаг Ермилов уступил китайцам.

«Дело врачей»

Черт его знает, откуда нарядчик Нестеренко, этот трепач и прохиндей, вынюхал историю об «убийцах в белых халатах». Кажется, он и газеты в руках никогда не держал, разве лишь для того, чтобы заворачивать в нее подношения от эзков, которые делились с ним посылками из дому, дабы откупиться от тяжелых работ. На что ему вдруг сдались эти новости из Москвы? К слову, газеты вообще приходят в лагерь с большим опозданием. Периодическая печать — это уже по линии начальника культурно-воспитательной

части (КВЧ) Чарного, и нарядчик Нестеренко не вмешивается в его «царство».

Начальник КВЧ Чарный организует в лагере концерты, выпускает лозунги и плакаты о «стахановцах» — передовиках производства, подводит итоги «социалистического соревнования» бригад, закупает книги для лагерной библиотеки и, главное, ведет учет посылок, получаемых заключенными. О, как тщательно и скрупулезно ведет Чарный этот учет! Как только телега привозит с почты посылки, в помещении КВЧ в присутствии охранников сразу начинается ажиотаж — идет вскрытие и «шмон» этих посылок: поиск всякой крамолы в виде писем, записок со скрытым, зашифрованным смыслом. Крамолой для начальства мог служить обыкновенный спичечный коробок с этикеткой, на которой изображены часы на Спасской башне Кремля, стрелка которой застыла на определенном времени, допустим, без пятнадцати двенадцать. Хотя эта картинка растиражирована на миллионах коробок, в лагере, невинная спичечная этикетка может вызвать подозрение. Видите ли, картинку можно истолковать как тайный знак, как подсказку к совершению побега. И спичечные коробки с подобными изображениями, и другие «опасные» вещи конфискуются. Ээки, которым в свое время досаждали следователи, знают, что тебя за просто могут обвинить в попытке поджога Кремля или в покушении на убийство руководителей партии и государства, а заодно в том, что ты являешься агентом нескольких иностранных разведок. Как говорится, попробуй потом докажи, что ты не верблюд...

Но это лишь одна из причин шмона. Другая же заключается в том, что в посылках часто попадают деликатесы, как, например, какао, сливочное масло, разные копчености. Из солнечного Узбекистана присылают кисло-сладкий урюк, сухофрукты. Догадаться, в чьи руки все это добро попадает...

В связи с подлыми наветами на врачей-евреев лагерные антисемиты подняли головы: от евреев можно всего ожидать! На все лады они мусолили эту тему, испытывая огромное удовольствие. Бандеровец Петро, горячась, неожиданно подошел к теме с другой стороны: «Я знал, что только евреи могут покончить с ком-

мунизмом! Они его породили, они его и уничтожат! Вот увидите! Просто у других сил на это не хватит...» Но более всего изрыгали свою злобу подонки, которые случайно затесались в категорию политзэков. В них бушевала ненависть из-за того, что их осудили по «контрреволюционной» 58-й статье. Будто и в этом евреи виноваты...

— Слыхали? — шипели они. — Обнаглели вконец! Да *они* должны сидеть вместе с фашистами, раз пошли против советской власти!

По любому поводу эта небольшая кучка «политических» хотела выставить напоказ свою преданность советской власти, искала момент, чтобы подчеркнуть, что состоит в доверительных отношениях с начальством, донося ему обо всем. Поэтому таких «доверенных лиц» назначали бригадирами и нарядчиками, заведующими складами; им разрешали носить прически и щеголять в собственных сапогах вместо стандартных резиновых «чуней», произведенных в обувной мастерской лагеря. Сделанные из использованных автомобильных шин, «чуни» напоминали глубокие калоши, зашнурованные бечевкой. Для уголовников «дело врачей» стало буквально подарком судьбы, ниспосланным свыше. «Еврейчики, еврейчики, — не переставая трепали они своими грязными языками, — не зря их здесь полным-полно. А ведь раньше их в лагерях почти не было. Видать, сам Каганович их покрывал... Ну, теперь им хана — всю их шпионскую сеть разоблачили и всех пересадили!»

Следует заметить, что уголовник уголовнику рознь. Некоторые касты вели междоусобную войну. Так называемым правильным ворами («честнякам») воровской закон не позволял на зоне сотрудничать с начальством. Они не становились бригадирами и над «политическими» не издевались. «Урки» же, напротив, это преступники, которые делали вид, будто встали на путь исправления, но сами они не работали, а командовали, и не дай бог какому-нибудь настоящему политзэку попасть в их подчинение.

В нашем лагере «честняков» было негусто, «урок» же хватало с избытком. Например, наш нарядчик Нестеренко тоже был «ур-

кой», хоть и выдавал себя за «политического». На самом деле он был осужден за сотрудничество с гитлеровцами в годы войны. Другие урки числились у него в друзьях, и на общие работы он их не посылал, а распределил на «теплые» места в лагере.

Неожиданный навет на врачей-евреев стал для Нестеренко сигналом, что и с другими евреями можно делать все что хочешь. Тихий лагерный антисемитизм вдруг вырвался на свободу. Нестеренко даже позаботился о том, чтобы купить целую пачку иркутской областной газеты, в которой подробно рассказывалось об «убийцах в белых халатах», и распространить ее в бараках.

В голове у Нестеренко родился дьявольский план: он решил создать отдельную бригаду из одних евреев. Следует заметить, что евреев в лагере никогда не выделяли отдельно. Разумеется, особую любовь к евреям не питали, и часто в свой адрес они слышали гадости, но эки всех национальностей, пребывающие в лагере, одинаково страдали и одинаково несли на себе ярмо неволи. Иногда становилось совсем уж невыносимо: вот спит еврей, а на соседних нарах — эсэсовец, который, возможно, уничтожил его родных и близких. Но здесь, в лагере, уживаются огонь и вода, лед и пламень; кровные враги — турок и армянин спят на нарах друг возле друга, француз — рядом с немцем, а украинский националист курит махорку вместе с русским белогвардейцем-монархистом. Все здесь как бы равны, на всех распространяется единая рабочая норма.

Выделяться из общей массы опасно. Тут лозунги меняются каждый понедельник и четверг — сегодня одно, завтра другое. Но сейчас будто какая-то нечистая сила дала нашим недругам команду: разрешается все!

Нестеренко даже составил список «еврейской бригады» и передал на утверждение начальнику лагеря Ермилову. В этот список были включены все евреи нашего лагеря. Уж теперь он им покажет, почем фунт лиха, заставит всех евреев лагеря, включая стариков, вкалывать до кровавого пота. Он сделает с евреями то же самое, что делали гитлеровцы. Он поставит евреев вне закона. А начлаг Ермилов, больше человеконенавистник, чем ненавистник

евреев, начал заодно вымещать злобу на нашем добром докторе-украинце С.

«Еврейские бригады» и конец антисемита

В отличие от Ермилова, доктор С. каждого человека любил и уважал. Невзирая на угрозы начальника лагеря, он освобождал эзков от каторжного труда, насколько это было в его силах.

Доктор С. объяснял Ермилову просто и доходчиво: «Вы можете сделать со мной все что угодно, отправить вместе со всеми на общие работы, но я до конца буду выполнять свой врачебный долг — лечить больных и давать им необходимый отдых».

Слушая лагерного врача, Ермилов дал ему понять, что его привилегированному положению приходит конец:

— Скоро к нам прибудет пополнение — врачи из Москвы, а среди них и профессора! Читай газеты и узнаешь, сколько уже врачей-евреев арестовали. Их пришлют в наш лагерь, и все они попадут в мои руки...

Для нас, эзков-евреев, находящихся в спецлагере, как бы наступило Девятое Ава¹. В те мрачные годы очутиться в спецлагере означало одно: свободы не увидишь никогда. Отмотав свой срок, получаешь второй. Но *«еврейская бригада»* — даже в жестоких условиях спецлагеря это было уже что-то запредельное, непонятное, дикое. Стало ясно: Нестеренко постарается, чтобы евреи вкалывали больше всех и питались «штрафным», т.е. значительно уменьшенным пайком. Это принесет желаемый результат: на кладбище у кромки леса, возле железнодорожного полотна, появятся свеженасыпанные могильные холмики с наспех воткнутыми в них дощечками: Я-718, Г-387, А-914... Под ними найдут свой вечный покой евреи-заключенные.

¹ **Девятое Ава** — день траура и поста в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме.

Но Всевышний мудр и справедлив. Словно Аману из Книги Эстер, мстит Он врагам Израиля, и мы, евреи, даже в неволе справляем веселый праздник Пурим¹. Правда, без хоменташн² и шалахмонес³, а лишь с баландой и задубевшей кашей, но что это был за праздник! Эта история прогремела на все окрестные лагпункты. Нашим недругам скоро стало не до евреев, и к нам пришло избавление...

О моральном облике начальства, которое обязано было перековывать нас в преданных государству граждан, мы знали немало, насмотревшись на их «красивые» дела и поступки. Не проходило и недели, чтобы мы не узнавали о свежих скандалах и скандалчиках, происходивших по другую сторону лагерной ограды, — в поселке, где жили военнослужащие и вольнонаемные граждане, охранявшие и «кормившие» нас. Истории о женах, бьющих своих мужей, то есть наших начальников, за то, что не платят алименты на своих отпрысков, относились к разряду будничных. Но эта история понаделала много шума.

Начальник режима нашего лагеря, лейтенант по званию, закрутил роман с черноокой зэчкой-украинкой из соседнего женского лагеря. Одна из охранниц пригрозила лейтенанту, своему бывшему любовнику, донести об этом вышестоящему начальству. Лейтенант, недолго думая, застрелил охранницу из своего табельного пистолета.

Эта история прогремела на весь Тайшетлаг. Из Москвы даже

¹ **Пурим** — еврейский праздник, установленный, согласно Книге Эстер, в память о спасении евреев, проживавших на территории Древней Персии, от истребления Аманом, любимцем царя Артаксеркса

² **Хоменташ(н)** — пер. с идиша как «сумка», «карман» Амана; выпечка, которую готовят на Пурим.

³ **Шалахмонес** — традиционные подарки со сладостями и напитками, которые евреи посылают друг другу в праздник Пурим.

прикатила комиссия, и лейтенант схлопотал двадцать лет. А затея с предполагаемой «еврейской бригадой» вскоре подзабылась, потому что в «Правде» появилось сообщение о том, что «дело врачей» — это навет, выдумка Абакумова⁵ и Рюмина⁶.

Так что капитану Ермилову не суждено было заполучить в свой лагерь московских профессоров-евреев, а антисемиту Нестеренко не удалось осуществить свой подлый план. Более того, за попытку создать «еврейскую бригаду» капитан Ермилов по служебной линии схватил строгий выговор. Нестеренко сняли с должности и им занялась специальная комиссия. Сразу же вскрылись его махинации: издоимство и ограбления эков. Было установлено, что Нестеренко дружил с тем самым лейтенантом, застрелившим охранницу. Нестеренко обвинили в том, что это он сбил с пути «преданного сотрудника НКВД», бывшего начальника режима. Таким образом, Нестеренко грубо просчитался в своих «стратегических» планах по организации «еврейских бригад».

Но разве это была только его ошибка?

Кто мог в то время понять хоть что-нибудь...

Триста женщин из Монголии

Неожиданно, как ураган, на нас обрушилась другая напасть. Наш лагерь был мужской, а для женщин существовали отдельные лагерные пункты. Правда, и в мужском встречались особы противоположного пола — немногочисленные сотрудницы лагерной администрации, для общения с эками недоступные. Если эка поймает хотя бы во время разговора с женщиной, ему не позавидуешь — сразу карцер.

А тут — сразу три сотни молодых монгольских женщин. Здоро-

⁵ **Абакумов В. С.** (1908–1954) — генерал-полковник, министр госбезопасности СССР. По мнению ряда историков, некоторые обвинения, выдвинутые против него, были явно надуманными. Расстрелян как участник «банды Берии» 19 декабря 1954 года.

⁶ **Рюмин М. Д.** — замминистра госбезопасности. Именно Рюмин является фальсификатором «дела врачей». В 1954 году приговорен к высшей мере. Не реабилитирован.

вые, сексуальные, кровь с молоком, в самом соку... Если бы капитана Ермилова спросили, согласен ли он принять и разместить в своем лагере транспорт с сотнями монголоков, он бы ответил категорическим отказом. Большинство этих женщин были осуждены за бандитизм, воровство, разбой и убийства.

Из своего опыта Ермилов хорошо знал, что уголовники не питают особой любви к производительному труду и живут за счет политических, которые в основном и тянут в лагере каторжную лямку всего трудового процесса.

Но у Ермилова, повторяюсь, никто ничего не спрашивал. Впри-
тык к нашему лагерю находился пустующий лагпункт на пятьсот эз-
ковских душ. Почему этот лагерь пустовал, почему не был заселен
политическими, когда все подобные таежные обиталища были пере-
полнены таковыми, для меня до сих пор остается неясным. Этот лаг-
пункт был частично разорен. Ермилов приказал наскоро изготовить в
столярке сотни нар. Наш лагерь как бы соединился с реставрирован-
ным лагпунктом; у нас были общее руководство, бухгалтерия и обе-
спечение. Когда эшелон с тремя сотнями женщин прибыл из Мон-
голии, то большую часть эзков мобилизовали на разгрузку вагонов.

Эти женщины добирались из Монголии в Сибирь целый месяц. В одном из вагонов стоял огромный котел, обмурованный кирпича-
ми, в котором арестантки готовили себе пищу. Всю эту конструкцию
требовалось разобрать, кирпичи уложить в штабеля и затем увезти
в лагерь. Несколько тысяч досок, из которых в вагонах были сбиты
нары, понятное дело, представляли особый интерес для Ермилова, и
мы перевозили их в лагерь в первую очередь.

Трудились мы вместе с монголками. Большинство из них, как
я уже заметил, были юные, крепкие девушки, и работали они про-
ворнее нас, больных, измученных стариков. Начлаг Ермилов стоял в
сторонке и, наблюдая за трудовым процессом, отпускал в наш адрес
циничные шутки:

— Это вам не лапсердаки носить!

Ермилов, который нашими руками построил огромное хозяйство,
придумал новый план, чтобы задействовать монголоков. Во вновь обо-
рудованном лагпункте он замыслил открыть свиноводческую ферму

и обработать для посевов пять гектаров земли. Он также спланировал цех по обработке слюды, которой в здешних местах в избытке.

А еще часть этих женщин станет по пропускам возить на телегах необходимые грузы за пределы лагеря. Все-таки они не политические — им можно доверять, и ему не надо будет из-за каждой мелочи лезть за разрешением к вышестоящему начальству. Но с первых же дней он в этих монголах жестоко разочаровался.

Началось с двух наших лагерных охранников, которые пробрались в женский лагпункт, а назад не вернулись. Были эти два вертухая, между прочим, порядочными сволочами, которые по любому поводу измывались над политзэками. Что там в женском лагере с ними произошло, доподлинно неизвестно, но больше в нашем лагере их не видели. Подонок Нестеренко рассказал «по секрету», что их отвезли в больницу. Пышущие здоровьем монгол-



ки просто-напросто изнасиловали их всем гуртом, доведя до полусмерти. Этот трагикомичный факт Ермилова бы не очень волновал, если бы монголки работали. Но они даже себя не хотели обслуживать. Тогда Ермилов со своим окружением заявился к ним и принялся им все это выговаривать. Выслушав начальника, монголки поскидывали с себя все одежды и, оставшись в чем мать родила, дружно, в один голос, завопили:

— Приведешь к нам мужиков — тогда будем работать!

Эту сцену капитан стойко выдержал, но его обуял страх.

— Почему в лагерь для политических шлют уголовников? — начал роптать Ермилов. Будто это не он сам назначал воров и бандитов бригадирами...

Поговаривали, что после этого случая начлаг вроде слетел с катушек, что он долго стучал кулаком по столу и орал:

— Я напишу в Москву, лично товарищу Сталину! Я из дерьма на пустом месте выстроил лагерь с десятками производств, даже цех по ремонту автомашин, которого нет больше во всем Тайшетлаге! Сэкономил государству тысячи рублей — и в награду на меня наслали эту саранчу из Монголии!

Каждый день происходили новые неприятности. В одном из барakov развалились нары, в другом повыбивали стекла. Неожиданно забросали камнями охранников на лагерьной вышке.

Как бы то ни было, но нам, экам, стало чуть легче, потому что начлаг уделял нам все меньше внимания. Теперь он в основном занимался монгольскими арестантками, и мы его видели редко. Но едва Ермилов появлялся у ворот лагеря, как моментально в бараках раздавалась тревога: «Ястреб идет!» Такое прозвище приклеили ему заключенные.

В отсутствие начлага нарядчик и бригадиры были беспомощны, и поэтому наш старый добрый доктор С., воспользовавшись временной ситуацией, старался на день-другой освободить от работы больных и слабых эков. Трепач Федько, забавлявший лагерьную публику своими байками и хохмами, поведал, что Ермилову здорово влетело от жены.

Случилось это прямо у ворот лагеря, когда бригады выводили

на работу. Капитан Ермилов, как выяснилось, не только в нашем лагере стал редким гостем, но и в родном доме. А все потому, что он целыми сутками штурмовал начальство Тайшетлага, требуя освободить его от балласта, «от этих фурий, которые бездельничают и подрывают его авторитет». Но супруга Ермилова расценила ситуацию по-своему и прямо при зэках стала орать:

— Днями и ночами пропадаешь с этими бабами! Забыл жену и детей! Немедленно домой!

При этом Федько красочно расписывал, как наш строгий начальник, словно послушный теленок, поплелся за своей благоверной домой, а жена, пылая праведным гневом, оглашала округу гвалтом:

— Ах ты сукин сын, да я твою морду поганую разорву! Я тебе покажу, как по девкам лазить! Сожгу к чертовой матери бараки вместе с твоими проститутками! Ишь ты, женский лагерь он устроил!

Услышав такое, зэки хохотали до упаду — хоть тут судьба отмстила начлагу. Поделом ему!

Это был тот редкий случай, когда зэки собственными глазами увидели позор начальника лагеря.

Через некоторое время Ермилову все-таки повезло: этих триста монгольских женщин у него забрали и перевели куда подальше — к самой Лене. Но после этой победы удача стала ему изменять, и «царство» его зашаталось.

Когда умер Сталин

Сначала это передавали друг другу по секрету, шепотом: тяжело болен Сталин. К новости, пришедшей с той стороны лагерной ограды, отнеслись с недоверием. Происходило это потому, что зэки часто покупались на подобные штучки и глотали наживку. В ход дезинформацию пускало само начальство, пробуя ее действие на заключенных. После чего «изучали» разговоры и комментарии, сделанные зэками по этому поводу, и вносили соответствующие коррективы в их «дела». Это были специально подготовленные провокации, чтобы по истечении срока известить сидельца о том, что во время отсидки

он по-прежнему занимался антисоветской пропагандой, и накинута ему новую «десятку».

Но сейчас на сытых лицах начальства можно было узреть, что произошло что-то весьма нехорошее. Особенно после того как начлаг Ермилов еще более ужесточил режим, проводя в бараках ночные облавы, а днем выискивал эзков, оставшихся в лагере и не вышедших на работу. Опытный глаз заключенного не мог не заметить смятение и панику, которые охватили администрацию лагеря. Да, наш начлаг своим мужицким чутьем сразу учуял, что его беспредельная власть начинает давать сбой.

Смерть Сталина от нас, эзков, не могли утаить. Фабричные и заводские сирены, гудки паровозов и пароходов во время его похорон звучали и разносили эту новость по всей стране. Ермилов приказал всех эзков вывести из бараков и стоять в молчании пять минут на морозном мартовском ветру.

Кандидатов на амнистию, которую объявили сразу после смерти Сталина, в нашем лагере было не так много. Точней, их можно было пересчитать на пальцах одной руки, поскольку она касалась лишь тех, у кого срок не превышал пяти лет. Закон об амнистии выглядел таким образом, что было не совсем ясно, на кого он распространяется: то ли на уголовников, то ли на политических.

Журнал «Новое время», который издавался в Москве на многих языках, всегда старался выглядеть «святее папы римского» и не стыдился иной раз вспомнить, что Государство Израиль является центром мирового шпионажа, так прокомментировал вышедший закон: амнистия распространяется лишь на уголовников, так как «к врагам народа (читай: к политзаключенным) жалости нет». Пару месяцев спустя несколько политзаключенных, осужденных на пять лет, все-таки были освобождены. На жительство в центральные города страны их, конечно, не пустили, но со временем они в индивидуальном порядке добились того, чтобы воссоединиться со своими семьями, проживающими в больших городах.

Итак, для нас, политэзков, в сплошном лагерном мраке появился лучик света. Даже заядлые пессимисты, утверждавшие, что нам суждено сгинуть в этом проклятом лагере, начали сдаваться. Появилась

надежда, что раньше или позже амнистия коснется и нас. Мы стали верить, что время работает на нас.

После смерти Сталина наш начлаг уже не пытался «закручивать гайки». На следующий день после того как Берию расстреляли, Ермилов вошел в кабинет культурно-воспитательной части и втихоря вынес оттуда портрет маршала Берии, снятого накануне расстрела со всех постов. Выйдя из КВЧ, капитан Ермилов побрел в замешательстве неведь куда. Местные шутники не упустили случая подначить его: «Гражданин начальник, зачем вы сняли Берию?»

Целыми днями Ермилов ходил в глубоком молчании, подавленный, ожидая циркуляров сверху. В Москве с указаниями не торопились, но кое-какие слухи о приближающихся переменах до нас дошли. Об этом поведали портные из швейной мастерской, специализирующиеся на индивидуальных заказах для тайшетлаговского начальства, с которым имеют «блат». Так вот, якобы инвалиды вроде нас и эки с серьезными заболеваниями, от которых государству пользы — как от козла молока, будут отправлены домой. Мол, в высших сферах готовые законы лишь ждут своего утверждения.

Процедура амнистии, которая широко стала практиковаться в местах лишения свободы в отношении уголовников, долгое время не касалась политических. Недужных, престарелых (а у нас сидели и те, кому за восемьдесят), которые вообще не могли работать, держали в лагере, предоставляя им право умереть в неволе. Еще поговаривали о том, что выпускают лагерников, отбывших две трети срока. И откуда только сидельцы черпали эти сведения? Знать бы, что правда, а что нет...

Спустя несколько месяцев стало известно, что на специальном партийном пленуме принято постановление о заключенных. Это произошло после бунтов на Колыме, в Норильске, Воркуте, Караганде и т. д., во время которых погибли сотни людей. Эти события заставили московскую верхушку задуматься и немного ослабить хватку.

Начальник лагеря, постоянно твердивший, что экам нельзя давать потачки, вдруг смягчился. Появляясь утром в лагере, он стал отвечать на приветствия заключенных, чего раньше не случалось. А ведь до этого он даже не смотрел в нашу сторону.

Смягчился и режим. Уже не надо было каждому хаму из охраны чуть ли не кланяться, когда тот проходил мимо. Однажды, когда мы пришли с работы, у самых ворот с наших фуфаяк и ватных штанов стали сдирать лагерные номера. Всего лишь вчера начальник режима дал пару суток карцера двум зэкам, у которых номера на одежде были недостаточно видны, а сегодня он сам срывал лоскуты с номерами с одежды заключенных.

Были среди зэков и такие, кто не позволял срывать номера. «Это ваш стыд и позор, — кричали они. — Вы смешали людей с грязью. Так пусть номера остаются и служат свидетельством наших унижений!».

Даже спрятать у себя на память этот лоскут с номером не разрешалось, ибо начальник режима угрожал карцером. Этим же вечером нас перестали, как обычно, запирают на ночь в бараках, из чего явствовало, что лагерь переведен на общий режим. Со временем появилась возможность за свои жалкие гроши, которые мы зарабатывали кровью и потом, кое-что приобрести для себя в лагерной лавке. До этого было все иначе: заработанные деньги записывали на счет каждого зэка, и начальник самолично решал, кому позволить снять со счета какую-либо сумму, а кому нет.

Зэки стали получать из дому письма, полные надежд на будущее. Смерть усатого тирана все-таки внесла надежду в нашу беспросветную рабскую жизнь. Всерьез стали поговаривать и о том, что большую часть заключенных нашего лагеря переведут в другое место. Например, в лагерь номер 046 — поближе к Братску.

С Мойше Бродерзоном на «этапе»

После смерти Сталина начлаг Ермилов утратил не только былую мощь и наглость, но как руководитель начал заметно сдавать и в остальных позициях. Прошло время, когда наш лагерь мог конкурировать с другими подобными «предприятиями» Тайшетлага. Каждый раз, когда к нам прибывала комиссия для отбора заключенных с целью их освобождения, Ермилов подсовывал самых слабых, больных

и убогих — тех, кто не мог трудиться. По его выражению, «балласт». Но были и ээки с высокой квалификацией.

Разумеется, Ермилов чувствовал, что бразды правления ускользают из его рук. Кроме центральной швейной мастерской, он был вынужден сократить и остальное производство. Даже количество работающих в обувном цехе пришлось сократить вдвое, поскольку не только рабочих стало меньше, но и производство чуней было велено уменьшить. Эти самые чуни наконец-то были признаны негодными к носке. Высшее начальство посчитало, что лагерники должны носить валенки. Так что приезжая комиссия классифицировала чуни как брак и Ермилову приказали их сжечь.

А еще ходили слухи, что на ближайшей станции стоят два десятка вагонов для перевозки ээков к новому месту. Вот уже несколько дней в нашем лагере находился «купец» — начальник одного из лагпунктов, который должен был принять нас к себе. Низкорослый, упитанный майор, с хитроватым прищуром глаз, который с сильным украинским акцентом все время пытался нас убедить, что «у меня вы будете жить припеваючи, работайте, и я никого не обижу».

Пройдясь не совсем лестно по адресу нашего начлага, он добавил, что и при «старом режиме» (то есть при Берии), в отличие от капитана Ермилова, он хорошо относился к заключенным. Некоторые ээки, особенно евреи, стали через знакомых интересоваться, попали ли в список отобранных их соплеменники. Оказалось, что почти всех евреев Ермилов отдал майору, оставив себе лишь несколько портных, которые, по выражению самого начлага, «вытягивали план».

Огромная столовая превратилась в казарму, куда загнали ээков с их скромными пожитками. Мы знали, что путь до нового лагеря составлял 26 километров, но тогда зачем каждому из нас вручили продрпак из расчета на двое суток? Эти 26 километров можно преодолеть поездом меньше чем за час! Может быть, правы те, кто утверждал, что нас повезут к самой Лене-реке?

За все мои арестантские годы это путешествие стало самым мерзким. Отрезок железной дороги длиной в двадцать шесть километров мы преодолевали... двое суток. Несмотря на то, что после смерти тирана подул «свежий ветер», сопровождавшие эшелон конвойные



относились к нам с прежней жестокостью. Морозы стояли дикие, и того количества дров, что нам выдавали на отопление вагона, явно не хватало. Стенки вагона покрывались льдом. В вагон, рассчитанный на тридцать заключенных, упаковали все пятьдесят. Каждый пытался взобраться на верхние нары, поскольку там все-таки было немного теплее.

Одно из эковских правил гласило: чем меньше вещей ты взял с собой на этап, тем свободней и комфортней будешь себя чувствовать в дороге. Можно сказать, что я был одним из таких «счастливчиков», поскольку кроме белья, у меня с собой ничего не было. Прислать мне с воли что-либо из одежды было некому, а те тряпки, что я когда-то взял с собой, давно украли. Благодаря тому, что я был гол как сокол, мне сравнительно легко удавалось заползать на верхние нары, где холод не так властвовал.

В более тяжком положении находился Мойше Бродерзон. Его

жена Шейне регулярно посылала ему продукты и носильные вещи, поэтому бедняге пришлось таскать с собой целый баул. Расположившиеся наверху эки не захотели пускать его к себе на нары, и Бродерзону пришлось несколько часов стоять на ледяном полу. Это была страшная картина.

Длинная, согбенная фигура еврейского поэта выглядела окаменевшей, словно статуя. Я предложил ему мое место, но он почему-то отказался. С большим трудом мне удалось выбить для него место на верхних нарах, из-за чего пришлось разругаться с одним упертым эком. Свой баул Бродерзон оставил внизу. На него было страшно смотреть: длинные ноги свисали с нар, и он изо всех сил цеплялся за стойки нар, чтобы не упасть. Он ничего не мог есть, лишь продолжал говорить со мной в полуобморочном состоянии.

— Скажи, Эмиот, — спрашивал он, — скажи, друг, о чем мы будем писать, когда выберемся отсюда на волю? Все общепринятые литературные каноны о гуманизме оказались фальшивыми. Какие образцы человеколюбия мы сможем показать в своих стихах? Все будет слащаво-приторным, надуманным, а то и просто ложью. Вот я, например, люблю Чайковского. Но когда я на воле услышу его «Танец маленьких лебедей», то вспомню эту музыку в исполнении нашего лагерного оркестра. Измученных эков — еврейского парня, играющего на скрипке, и двух аккордеонистов-виртуозов...

Следовавший по этапу эшелон с заключенными пока больше стоял, чем двигался. Черт его знает, почему наш состав замер. Возможно, он пропускал пассажирские и товарные поезда. В конце концов мы все-таки добрались до нового лагеря. Случилось это в воскресенье, и начальство в выходной день не торопилось нас принимать. От селедки, которой мы питались в дороге, становилось тошно, очень хотелось пить, но воду нам не давали. Среди нас были и такие, кто страдал желудком, и они каждый раз убегали в сторонку и, не таясь, справляли тут же большую и малую нужду. Неимоверный смрад разносился по всему вагону. Ночью нас несколько раз пересчитывали. Бродерзону стало плохо, и я стучал в дверь санитару, но никто не отзывался.

Лишь к вечеру нас выпустили из вагонов. Замерзших, страдаю-

щих от жажды, нас загнали в пустые бараки. Оказалось, двумя днями раньше из них вывезли в дальние лагпункты отобранных здоровяков-зэков на тяжелые работы. Бараки стояли нетопленные, и только сейчас назначенный из нас дневальный начал растапливать печку.

Мойше Бродерзон находился в полуобморочном состоянии. С трудом я ему помог взобраться на верхние нары и сразу позвал врача, который мгновенно поставил диагноз — воспаление легких — и направил его в стационар, где Мойше пролежал две недели.

Я же по привычке присматривался к лагерному быту. Лагерь по сравнению с прежним был меньше и выглядел в какой-то мере запущенным. Вероятно, Ефименко, в отличие от Ермилова, не уделял должного внимания внешнему виду лагеря. Главное для него было — выполнение плана. Работа наша заключалась в том, чтобы пилить деревья и строить небольшую дорогу.

С первого вечера начался Ефименко стал обходить бараки, «задушевно» беседовал с зэками, выпячивая свою доброжелательность. Иной раз он «забивал козла» с зэками и, проигравши, даже залезал под стол.

На службу он ходил охотней Ермилова. Его особенностью было заглядывать в бараки и разглагольствовать о необходимости хорошо трудиться, ибо «только через упорный труд лежит дорога к освобождению». Особенно тех, кто отбыл две трети срока.

Скажу, что эти беседы действовали. Многие зэки из числа больных и недужных ползли на работу буквально на четвереньках. При этом Ефименко разъяснял, что главное слово при освобождении заключенного остается все-таки за ним, начальником лагеря.

Еврей Вронский из советской разведслужбы

Через несколько дней после прибытия на новое место начался Ефименко, чтобы вдохновить основную массу заключенных на активный труд, а слабых чем-то задобрить, отправил несколько зэков в больницу для прохождения медкомиссии. В больнице их должны были признать нетрудоспособными и к дальнейшему пребыванию

в местах заключения непригодными. С остальными зэками у начальника особых проблем не было; они неплохо работали, чтобы получить обещанную начальником привилегию — выйти на свободу.

После ранее упомянутых мною лагерных бунтов в разных районах страны и смерти Берии был официально принят ряд законов, в соответствии с которыми были разрешены свидания зэков с родственниками. Ефименко по этому случаю соорудил у ворот лагеря специальный барак, где заключенный мог оставаться со своей женой несколько дней.

Ефименко зачитал нам даже распоряжение о том, что определенное количество заключенных, отличившихся в труде, при обязательном ходатайстве начальника лагеря перед вышестоящим руководством, могут проживать вне зоны. «Все зависит от поведения заключенного, его успешной работы», — подчеркнул он.

Новый лагерь буквально кишел разными уголовниками. Начальники других лагерных пунктов, приезжавшие к Ефименко, чтобы забрать к себе отобранных им ранее зэков, и смотреть не хотели на этих воров, бандитов, грабителей. Лишь немногие из них работали. Остальные жили довольно припеваючи с лагерной кухни. Они тянули оттуда мясо, сало, сахар, а повара из страха перед урками закрывали на это дело глаза.

На должности начальника культурно-воспитательной части находился заключенный-еврей Вронский. До 1952 года этот самый Вронский был подполковником службы контрразведки Генерального штаба Советской Армии, носил на груди с десятков орденов и медалей, чем весьма гордился. По служебным делам побывал в некоторых странах и вскоре должен был стать полковником. Когда в 1952-м евреев стали увольнять из спецслужб, он разоткровенничался со своим знакомым о том, что, мол, изгнание евреев из спецслужб — явный антисемитизм. Знакомый, естественно, наступал, и Вронскому повесили антисоветскую агитацию, он загремел на десять лет в исправительно-трудовые лагеря.

Оттуда Вронский не переставал писать жалобы в Москву, в которых сетовал на несправедливость наказания. Так как долгие годы он был связан со многими службистами из аппарата контрразведки

и МГБ, то и для гулаговского начальства он был вроде родным человеком, состоял в дружеских отношениях с оперуполномоченным Хохловым. На деле это означало: да, Вронский ээк, но в какой-то момент его могут реабилитировать и он станет начальником над Хохловым. Так что, на всякий случай, Хохлов решил «обезопасить» себя: приглашал его к себе домой на дружеские возлияния, разрешал находиться вне зоны.

Вскоре Вронский показал свое истинное лицо чекиста. Подружившись с лагерными уголовниками, стал приглашать их к себе в КВЧ. Он не только разрешал им там бездельничать, но и проводил с ними «воспитательную» работу: натравливал их на политических. В его силах было протолкнуть уголовников на теплые должности: на склады, в лагерный магазин или столовую — в общем, туда, где не надо напрягаться физически.

Вронский почти сразу перенял их блатной язык, стал употреблять самые грязные и отвратительные выражения, чтобы прослыть среди них своим. Будучи сыном еврейских родителей, он скрывал свое происхождение, говорил, что мать его — русская дворянка. Еще он любил рассказывать грязные антисемитские анекдоты.

Евреи-лагерники быстро его раскусили и стали остерегаться. Украинцы, которым он тоже немало досаждал, вынесли ему приговор. Приговор был сравнительно легкий: в течение одного часа он, Вронский, должен покинуть территорию лагеря. Получив записку с ультиматумом, этот мерзкий тип сразу понял, чем это для него пахнет и направился к охране лагеря. Что именно он сказал охранникам, точно не известно. Наверное, просил защиты. Больше в нашем лагере он не появлялся. Рассказывали, что родное начальство позаботилось о нем и перебросило в другой лагерь.

Этот подонок крепко врезался мне в память: подлая душонка, доносчик, который уже после смерти Сталина и Берии продолжал вести себя так, будто сидит за столом на Лубянке. Все его поведение напоминало те страшные времена, когда каждый боялся собственной тени.

Надо заметить, что не все уголовники в лагере поддавались на уськивания Вронского против нас, политических. Особенно это

проявилось в характере бывшего бандита, 24-летнего Лёни Костова. Этот уголовник четыре года назад был приговорен к расстрелу за убийство пятерых человек при ограблении. Когда он находился в камере смертников, казнь ему заменили на 25 лет лагерей. По 59-й статье он шел как уголовник, но в лагере Лёня нехорошо высказался о родном государстве, его тут же переквалифицировали в политзэка и направили в тайшетский Озерлаг.

Необычайно выносливый и крепкий, словно атлет, Костов на самых тяжелых работах перевыполнял нормы. Придя с работы в барак, он сразу садился за шахматы и, играя с сильными соперниками, редко терпел поражение. В отличие от других уголовников, от него никто и никогда не слышал дурного слова. Он всегда тянулся к зэкам из числа интеллигентов и проводил с ними долгие часы в интересных беседах.

Лёня Костов соседствовал со мной на нарах, и это соседство, прежде чем я узнал его характер, было для меня не совсем приятным. Я создавал: возле меня лежит матерый бандит и убийца! Позже, когда мы подружились, я рассказывал ему всякие истории (реальные и выдуманные), которым он, слушая и внимая, искренне изумлялся. Когда в лагере открыли курсы в рамках школьной программы, Костов был одним из первых, кто на них записался. Этот молодой интеллигентный бандит поведал мне интереснейшую историю своей жизни.

Бандит Лёня Костов

Лёня рассказал, что рано осиротел. Восемь детей, оставшихся после смерти отца, мать содержать не могла, и они, живя в страшной нужде, голодали. Пару месяцев Лёня находился в детдоме, но вскоре сбежал оттуда из-за издевательств со стороны воспитателей. Скитаясь по разным городам, он сдружился с такими же малолетними беспризорниками. Начинал Лёня с мелких карманных краж, а дальше пошли разбойные нападения.

Отсидев некоторое время в колонии для малолетних преступни-



ков, вышел на свободу и снова взялся за уже освоенное ремесло. Вскоре стал вожакom шайки. В ходе спланированного им нападения на банк Костов насмерть уложил пятерых человек, среди которых были и милиционеры.

Больше всего меня удивляло в нем то, что, несмотря на криминальный образ жизни, он обладал спокойным характером и тонкими чертами лица. От прошлой жизни осталась лишь расточительность, привычка жить на широкую ногу. Леня зарабатывал больше всех нас — почти 600 рублей в месяц, но эти деньги уплывали у него за несколько дней. Он никогда не садился за стол в одиночку. Покупал в лагерном магазинчике все, что там было вкусного, выставлял на стол и приглашал чуть ли не половину барака. В лагерной самодеятельности он участвовал

в качестве плясуна-солиста, исполняя украинские, молдавские, русские, польские танцы.

То, что молодая разведка-«вольняшка», начальница спецотдела, которая вела лагерное делопроизводство, была равнодушна к Лёне Костову, ни для кого не было секретом. Она частенько появлялась на его выступлениях, постоянно искала повод с ним встретиться и, главное, пыталась добиться через руководство сокращения его лагерного срока. В клуб на концерты с участием Костова приходили все жены больших и маленьких лагерных начальников. Для выполнения ремонтных работ в своих домах они всегда через мужей приглашали Лёню. Он, конечно, был мастер на все руки, но причина, сами пони-

маете, была несколько иная: в отсутствие мужей, отдающих всё свое время службе, некоторые женушки наставляли своим благоверным рога...

После таких визитов Костов возвращался в лагерь подпитый, разгоряченный, и в нем просыпалась задремавшая было звериная злость. Тогда он бежал на кухню, хватал огромный нож и дико ревел:

— Я должен зарезать Вронского! Где эта сволочь? Где этот стукач? Он всех закладывает начальству!

Никакой жалости к Вронскому я не испытывал, но за Лёню переживал. Будучи трезвым, он выглядел нормальным человеком. Конечно, он мог на трезвую голову ударить какого-нибудь ээка, но лишь в том случае, если этот ээк-антисемит оскорблял евреев. Улучив момент, я забирал у него нож и заговаривал ему зубы, рассказывая всякие истории, которые ему так нравились.

Так как Лёня умудрялся выполнять две, а то и три рабочие нормы, у него был шанс освободиться досрочно. Мы, политэзки, переживали за него, чтобы он, набравшись спиртного, не выкинул какой-нибудь номер и не застрял бы в лагере навсегда. Костов это понимал и в душе благодарил политэзков за теплое к нему отношение.

Иногда, схватив за грудки распоясавшегося бригадира-уголовника, когда тот издевался над политическими, Костов обещал стереть его в порошок. Впрочем, Лёне достаточно было бросить лишь взгляд в сторону этого негодяя...

Тот же стукач Вронский боялся его как огня. Прикладывая немало усилий, чтобы избавиться от Лёни, он лебезил перед ним и всячески заискивал. Занимая должность начальника КВЧ, Вронский даже выхлопотал у начальника разрешение на приезд матери Костова в лагерь. К этому знаменательному событию моменту Лёня усердно готовился.

Происходило все это в начале 1955 года. В лагерьном магазинчике можно было приобрести кое-какую снедь, что и делали хорошо зарабатывающие ээки. К свиданию с матерью в лагере Лёне выделили небольшую каморку в одном из бараков — в ней хранилась всякая хозяйственная утварь. Это помещение Лёня привел в порядок: побелил стены, поставил столик со скатертью. На столик поставил вазу

с бумажными цветами и всякую вкуснятину. Старая мать привезла из своего колхоза подарок для сына — два больших белых калача. Увидев, какой стол приготовил для нее сын, она разрыдалась.

Из встречи сына с матерью наш хитрый начлаг Ефименко решил извлечь свою выгоду. Он созвал эков на собрание и пригласил туда мать Лёни. Перед всем народом Ефименко стал говорить о положительном воздействии лагеря на перевоспитание заключенных. И, в частности, привел в пример Леонида Костова, который был преступником, а стал передовиком производства.

Кстати, весь этот спектакль не помешал начлагу после отъезда матери отправить ее сына по этапу в другой лагерь, и приложил свою руку к этому делу все тот же Вронский. Зная о том, что жены начальства неравнодушны к Костову, он втянул его в скандальную историю. Вронский отправил Лёню домой к Ефименко, что-то отремонтировать. Начлаг в это время находился на службе. На улице дежурил конвойный, приглядывающий, чтобы эк не сбежал. Что там творилось внутри квартиры, охранник, разумеется, не знал.

Случайно или нет, но в это время Ефименко пришел домой. Какая картина предстала его взору, это осталось тайной, но на следующий же день Лёню Костова отправили по этапу в дальний лагерный пункт на берегу реки Лены. О своем поступке Костов нисколько не сожалел и на прощанье сказал:

— Я бы этого не делал, но мне надо было отомстить начлагу за его болтовню на собрании о положительном воздействии лагеря на мое воспитание...

Октябрьский праздник в лагере

За день до 7 ноября, самого значительного праздника в Советском Союзе, в лагере наступает всеобщее сумасшествие. Сначала начинается так называемый великий шмон — генеральная ревизия всего содержимого в бараках. Не дай бог, если у кого-то из эков обнаружат нож, кусок арматуры или другой запрещенный предмет — не сдобровать!

В восемь утра нас выгоняют из бараков на дикий мороз. Больные, старики и даже те, кто еле передвигается, — все без исключения должны находиться на перекличке. Охрана выстраивает заключенных по пять человек в ряд и всех обыскивают.

У начальника охраны своя система обыска: лагерники должны стоять на морозе в одном исподнем, разведя руки в стороны, пока охранники не облапают их всех с головы до ног. Положение далеко не из приятных, особенно, когда этот обыск длится часами, а долгожданный обед откладывается до позднего вечера...

Перед этим лагерников загоняют в рабочую зону, из бараков заставляют выносить все, вплоть до последнего полена дров. Во время этого всеобщего шмона конфискуется уборочный инвентарь: метлы, лопаты, совки и металлические скребки для снега. Начлаг со свитой собирает трофеи: иголки, ножики, лезвия, обрывки бумаг с записями. Если записи сделаны на непонятном языке, например, на еврейском, армянском или грузинском, то они моментально изымаются и тут же предаются огню.

Стоящих на морозе эков несколько раз пересчитывают. Счет не совпадает, поскольку познания в арифметике у охранников весьма ограничены. Наконец нас отпускают в бараки. Поздно вечером в столовой мы наскоро глотаем промерзшее кислое варево.

За малейшее непослушание или, что еще хуже, сопротивление можно угодить на два дня — 7 и 8 ноября — в БУР (барак усиленного режима). Разница между БУРом и карцером в том, что в БУР разрешается брать с собой постельные принадлежности, да и пайку не уменьшают. Обычно в БУР изолируют молодых эков, выказавших признаки неповиновения. Но если дневальному что-то не понравится, то в БУРе может оказаться и семидесятилетний старик.

В прошлом году в БУРе просидел двое суток 70-летний социалист из Латвии Клавс Лоренц. В этих же местах, на Лене, он отбывал каторгу при царе. Сейчас Лоренц тянет 10-летний срок, который ему вlepила советская власть в 1948-м. Среди заключенных он выделялся своей порядочностью и интеллигентностью и, видимо, этим не нравился дневальному по барaku Неверову — подонку, доносившему начальству на лагерников. Как-то Лоренц, получив из дому посылку,

отказался поделиться ее содержимым с Неверовым. Чтобы отомстить старику, дневальный доложил начальству, что латыш-социалист якобы собрался выступить против лагерных порядков. Лоренца на два праздничных дня упекли в БУР, где он находился с двумя жлобами, которые издевались там над ним как могли.

В первый праздничный вечер для остальной массы эзков ожидается любительский спектакль, в котором лагерный художник Гофман будет играть роль матери в пьесе А. Островского «Без вины виноватые». Но прежде чем начнется представление, из бараков на плац выгонят всех сидельцев, чтобы слушали нудную речь начлага. Тот расскажет о величии Седьмого ноября и подчеркнет, что это и наш праздник, несмотря на то, что мы временно изолированы. Начальник долго будет твердить об Октябрьской революции, освободившей человечество от рабства. Затем зачитает список передовиков производства, манипулируя иллюзией их скорейшего освобождения.

Однако же наш начальник не такой дурак, как его коллега из соседнего ИТЛ, который накануне октябрьского праздника вывесил в лагере транспарант: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!»

И это совсем не шутка. Говорят, кто-то из начальства позже спохватился, что эта фраза звучит в лагере как насмешка, и лозунг убрали. Но два праздничных дня он провисел.

Не раз мне приходила в голову мысль о схожести деспотичных режимов разных стран и народов. Нацисты, терзая миллионы наших братьев и сестер, на стенах и воротах лагерей смерти вывешивали похожие лозунги, вроде этого: «Arbeit macht frei» — «Труд делает свободным!»

Праздничные дни быстро растаяли и заключенных снова погнали на рабский труд. Не каждый из нас выдерживал: некоторые заболели, а то и сразу падали замертво. Когда последние силы оставили меня, я тоже упал. Только тогда меня освободили от работы, но я уже витал между жизнью и смертью.

После того, как я несколько месяцев пролежал с тяжелым воспалением суставов, наш лагерный врач С. потребовал у нарядчика, чтобы меня перевели работать на территорию зоны. Доктор моти-

вировал тем, что с моими ногами ходить в тайгу и валить лес совершенно невозможно. Во-первых, шагать на работу и обратно по три километра; во-вторых, надо суметь изловчиться и вовремя отпрыгнуть от падающего дерева. В моем положении опасность мне угрожала каждую минуту.

Через некоторое время меня перевели в бригаду хозобслуги. Но накануне мне пришлось присутствовать при диком случае, когда охранник Рысков, сопровождавший нас на работу, сущий бандит и сексуальный маньяк, которого позже осудили за изнасилование несовершеннолетней падчерицы, застрелил невинного зэка якобы за попытку к побегу...

За «попытку к бегству»

Обитателям нашего лагеря было известно о существовании некоего секретного предписания, гарантирующего должностному лицу за поимку заключенного премию в 500 рублей и месячный отпуск. О том, что карательные органы (НКВД-МГБ-МВД) имели и имеют своих людей везде и всюду, не знал, наверное, лишь слепой и глухой. И даже если кому-то удавалось совершить побег, все равно он был обречен: либо дикий зверь в тайге загрызет, либо сам беглец умрет от голода. Просить еду у деревенских опасно — сдадут, ведь за поимку беглеца причитается приличная награда: месячный запас муки и сахара.

Никто из зэков о побеге в одиночку и не помышлял, разве что такие мысли стали появляться у них лишь после смерти Сталина (и то не в одиночку бежать, а вдвоем-втроем). При сопровождении зэков на работу за охранником Рысковым тянулась собачья свора — шесть здоровенных псов. Скажите, зачем для охраны недужных и вообще несчастных калек шесть злых овчарок? Разве шести охранников с автоматами недостаточно? Рысков буквально ловил кайф, когда овчарка набрасывалась на какого-нибудь зэка и в клочья рвала его одежду. О, этому делу его псы неплохо обучены! Они не кусают, а именно рвут одежду своими острыми клыками.

Никто не осыпал нас такими отборными ругательствами, как Рысков. С ним зэки не шли на работу, а бежали — по пятеро, держась за руки. Рысков обязательно пускал зэков по той дороге, где грязь по колено. Греться у костра он разрешал лишь изредка. К тому же вмешивался в работу, подсказывая бригадиру, когда тот или иной зэк делал минутную передышку, чтобы набраться сил. И вот мне, как и остальным собратьям по несчастью, пришлось стать свидетелем страшного зверства, которое сотворил охранник Рысков.

Наша бригада работала на лесоповале, и редко выдавался день без происшествий. Деревья валили даже при сильном ветре и было неизвестно, в какую сторону упадет дерево. Каждый день происходил несчастный случай: кого-то зацепило сучьями, кому-то придавило руку или ногу, кому-то просто становилось плохо. Рабочий участок был огорожен «запреткой» — вбитыми в землю кольями с табличками «Запретная зона». Зэки могли передвигаться лишь на этом обозначенном участке. Шаг за пределы обозначенного участка означал попытку к бегству, и конвойный имел право стрелять.

Перед тем как мы приступали к валке деревьев, некоторые охранники разрешали нам немного расширить рабочую площадку, чтобы мы — в случае чего — могли отскочить. Рысков же всегда стремился к тому, чтобы сделать рабочую площадку еще уже. Вернуться с работы живым и невредимым было просто чудом.

На этот раз Рысков проделал подлую штуку с 60-летним зэком. Это был скромный, молчаливый человек, которого уважала вся наша бригада. Его посадили за религиозные убеждения (был баптистом), и он получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей. За два года пребывания с ним в одном лагпункте я не слышал от него ни одного худого слова. Казалось, что не государство, а он сам себя наказал: работал как лошадь и, будучи не совсем здоровым человеком, никогда не стремился взять у врача освобождение хотя бы на один день. В работе всегда помогал другим, делился куском хлеба. За человечность и дружелюбие его и уважали в бригаде.

Внезапно раздалась автоматная очередь. Оглянувшись, я увидел, что зэк-баптист (его фамилия была Ефимов), окровавленный, лежит на земле. При этом не только мне, но и остальным зэкам было вид-

но, что Ефимов лежит на территории рабочего участка. Прежде чем мы пришли в себя, раздался голос конвойного: «Всем лечь на землю лицом вниз!»

Когда мы по команде поднялись с земли, то заметили, что колья с табличками, ограничивающие периметр рабочей зоны, были передвинуты. Теперь получалось, что тело Ефимова лежит за пределами рабочей зоны. Эки подняли крик, требуя прокурора. Рысков отправил одного из конвойных за начлагом и врачом. Тем временем убийца Рысков посадил нас всех на землю и стал грозить, что всю бригаду запрет в карцер из-за учиненного нами бунта. «Слышите, — кричал он, — я убил Ефимова при попытке к бегству!»

Когда появился начлаг, эки хором стали объяснять, что охранник Рысков собственными руками передвинул колья с запретными табличками уже после выстрела в заключенного, чтобы замести следы и получить вознаграждение.

Начальник лагеря был вынужден вызвать из района прокурора. На место происшествия прибыла целая комиссия, впрочем уделившая нашим заявлениям мало внимания. Получалось, что из этой истории вертухай вышел героем: самоотверженно исполнил свой долг, предотвратив побег заключенного. Потому и был награжден премией в размере 500 рублей и месячным отпуском. К тому же его повысили в воинском звании до старшего сержанта.

Нашелся среди нас один упрямый ээк, которому удалось окольными путями отправить письма о случившемся в управление Тайшетлага и даже в Москву. Результат был нулевой. Однажды начлаг ввалился к нам в барак, кипя «праведным» гневом:

— Кто из вас, сволочи, осмелился писать жалобы начальству? Найду жалобщика — отправлю туда, откуда он не вернется!

Оказывается, Москва прислала письма обратно с надписью: «Расследовать!» И началась вакханалия: целыми днями нашу бригаду таскали в КВЧ; каждому ээку было велено писать объяснительные, чтобы получить образцы наших почерков. Сами понимаете, что автор жалоб теперь старался писать иначе, изменив почерк, и анонимщика найти не смогли. В отместку начлаг разбросал нашу бригаду по другим рабочим подразделениям.

Убийство невинного человека под предлогом побега было нередким явлением в те времена. Подобный произвол имел место не только в нашем лагере, но и в других пунктах Тайшетлага. Преступники в погонах МГБ, подобно Рыскову, убивая заключенных «при попытке к



бегству», гнались за премиями и другими наградами. Поэтому неудивительно, что в советских лагерях жертвами подобных случаев пали сотни безвинных заключенных.

Проучить такого подонка мы смогли позже, когда Сталина и Берии уже не было на этом свете, а режим в лагерях несколько смягчился и с эсками стали хоть немного считаться. Так же, как и Рысков, конвоир попытался убить заключенного якобы за попытку к бегству.

Мы объявили забастовку, и начальство было вынуждено передать конвоира в руки правосудия. Убийца в погонах все-таки получил свою «десятку»...

До конца жизни буду испытывать сердечную благодарность к доктору С. Как, впрочем, и сотни других лагерников, которым он буквально спас жизнь в том аду. Если бы не он, заступавшийся за каждого зэка перед кровожадными бригадами и нарядчиками, врачами в погонах, если бы не доктор С., то гораздо больше могильных холмов было бы на заснеженных лагерных кладбищах между Тайшетом и Леной.

Я бы назвал его полное имя, но боюсь, чтобы этот доктор с золотым сердцем, оставшийся в стране каторжных лагерей, не оплатил за свою доброту. Поэтому оставляю лишь его инициал.

Наш бывший начлаг Ермилов, разозлившись как-то на доктора С. за то, что тот освобождает от работы слишком много больных зэков, отправил врача на лесоповал. Но мы, зэки, если честно, не давали нашему ангелу-спасителю и пальцем пошевелить. Каждый из нас снимал со своей рабочей выработки какие-то проценты и вносил в ежедневную таблицу выполнения норм в пользу доктора С.

Хитрый Ермилов спохватился: откуда, мол, у доктора взялись аж 300 процентов выполнения рабочей нормы? Естественно, пожилому человеку выполнить такой план не под силу. Ермилов прислал соглядатая, но мы все прекратили работу и сели. Начлагу не хотелось терять проценты, за которые он каждый месяц получал премию, и он был вынужден восстановить доктора С. в прежней должности и больше его не трогал. После моей тяжелой болезни наш добрый доктор добился-таки у начальства, чтобы меня оставили работать в лагерной теплице.

Русское сердце, еврейский стон

В теплице, где я трудился, выращивали цветы, разводили рассадку огурцов, помидоров, капусты и прочих овощей. Зимой в мои обязанности входило топить печи и поддерживать в теплице температуру до 18-ти градусов; ежедневно я приносил из колодца двадцать ведер

воды и поливал молодые ростки. А еще требовалось каждый день напилить и наколоть дрова и сделать несколько сотен торфяных плиток и затем высушить их. За лето я должен был заготовить двадцать тысяч таких плиток. Делались они так: в огромном чане смешивались жирные коровьи лепешки, опилки и зола. С помощью консервной банки с приделанной к ней деревянной ручкой я вытаскивал эту плотную смесь из чана и затем высушивал эти кругляки, которыми зимой растапливал печки.

Из всех видов работ, которые мне приходилось выполнять в лагере, труд в теплице был самым легким. Хотя зимой приходилось чистить рамы от снега и накрывать их на ночь матрасами, бодрствуя допоздна, пока не сменит сторож. А летом нужно было наполнять бочки, для чего требовалось натаскать сто двадцать ведер воды для полива парника. Несмотря на все это, жаловаться было грешно.

Кроме того, мне приходилось воевать с охранниками и ... любителями витаминов, повадившимися по вечерам в теплицу — «попробовать» свежие помидоры и огурчики. Ежедневно в подсобное хозяйство наведывался начлаг, осматривавший каждый покрасневший помидор.

А еще частым гостем в теплице был бык — любимец начлага. Эту скотину использовали в лагере в качестве гужевого транспорта и содержали в конюшне по соседству с теплицей. Бык свободно гулял по территории лагеря и часто бросал жадный взор в сторону теплицы. Уставится своими огромными бычьими глазами на овощные деликатесы и вот-вот ввалится всей своей тушей в теплицу...

Кровь стыла в моих жилах, когда я представлял себе такую картину. Не хватало только, чтобы эта скотина натворила здесь дел. С быка какой спрос? А вот мне за это точно диверсию пришьют.

Сколько раз, ни жив ни мертв, я подбегал к быку, хватал его за рога и с криками выпроваживал из теплицы. Но когда я возмущался, почему животное свободно разгуливает по территории лагеря, начлаг зло отвечал:

— Благодарю быка за его дерьмо, без которого ты бы не смог делать «торфяные плитки». А если тебе здесь не нравится, подыщем другое место.

Из теплицы уходить мне совершенно не хотелось. Во-первых, зимой здесь тепло и тихо и не надо мерзнуть на лесоповале. К тому же, парочку помидоров для себя и друзей я всегда имел возможность прихватить, что важно, так как в лагерях бушевала цинга, и витамины были весьма кстати.

Воровство всегда было для меня под запретом, я никогда в жизни не брал ничего чужого. Но случай, когда я тащил овощи из теплицы, был особый. Называйте это воровством или как-то иначе, но я это делал для моих добрых друзей. Умыкая иногда овощи для товарищей по несчастью, я делал это осторожно, чтобы ни в коем случае не подвести заведующего теплицей. «Контрабанду» эту я проносил из хозяйственной зоны в жилую под шапкой-ушанкой, в рукавах фуфайки. Чтобы охранник ничего не заподозрил, я уверенно проходил через КПП, но сердце мое много раз сжималось под его недружелюбным взглядом. Со временем я и контролеров КПП стал периодически угощать свежей зеленью и румяными помидорчиками, и те вскоре перестали обращать на меня внимание.

А уж до чего велика была радость, когда я приносил эти зеленые яства в барак! Десятки измученных глаз встречали меня с благодарностью в предчувствии того, что попробуют невиданные в неволе овощи.

Заведовал теплицей известный на всю страну агроном. Когда-то он окончил знаменитую Тимирязевскую академию и был автором учебников по агрономии. В 1937-м его арестовали, и с той поры он из колымских и тайшетских лагерей не вылезал. Родился он в семье караима и еврейки. Может быть, поэтому, работая в теплице, он постоянно напевал одесские еврейские шлягеры двадцатых годов. Когда-то этот агроном руководил огромным совхозом, а сейчас иногда рассказывал лагерникам, как, трудясь на аграрной ниве, ему приходилось общаться с высокомерными советскими «шишками» из министерства.

Несмотря на то, что уже 16 лет сам скитался по лагерям, с зэками он вел себя надменно, обязанности завтеплицей переложил на своего помощника Кучеренко, которому было уже за шестьдесят. Кучеренко когда-то руководил сектой баптистов на Украине. Хотя у него не

было агрономического образования, на практике он был опытнее, чем его начальник. И вообще, у Кучеренко были золотые руки. К своему начальнику он испытывал неприязнь и считал его почему-то шлимазлом, несмотря на его высшее сельхозобразование.

Эта нелюбовь была взаимной: заведующий теплицей завидовал возможности своего помощника раньше выйти на свободу, но главной причиной было то, что тот в открытую собирался со своими баптистами в бараках и даже приводил их в теплицу, где они толковали о своей вере. За это начлаг не раз хотел выгнать его из теплицы. Но так как Кучеренко украинец (а украинцев в бригаде было большинство), то он не хотел с ними конфликтовать, подвергая риску выполнение производственного плана — задачи номер один.

Заведующий теплицей, которого посадили за троцкизм, знал, что шансов выйти на волю у него нет. Еще десять лет назад его «актировали», то есть хотели списать, настолько он был болен, и отправить домой, поскольку пользы от него в лагере никакой. Но, заглянув в его «дело», начальство вспомнило, за какие прегрешения он сидит, и наш агроном распрощался с мечтами о свободе. Он отсидел уже 16 лет из полученных 20-ти и теперь не надеется, что когда-нибудь выйдет. У того же Кучеренко, которого осудили на 25 лет, больше шансов очутиться на свободе, нежели у нашего агронома.

При всей грубости характера он часто вызывал к себе жалость. Это происходило в те моменты, когда он разглядывал фотографии жены и детей. Жена, красивая украинская казачка, была заснята с двумя детишками, которых он оставил еще маленькими. Мальчик и девочка, как и миллионы других детей, выросли без отца. На другом снимке была запечатлена его дочь, юная красавица с печальными глазами, уже студентка первого курса мединститута. Еще на одной фотокарточке — его сын, держащий в руках мандолину. Его озабоченное лицо свидетельствовало о том, что к игре на инструменте он совсем не расположен...

Их отец осторожно прячет фотографии в карман, и хотя этот ээк выдает себя за русского, скрывая свое еврейское происхождение, из его груди вырывается печальный еврейский стон.

Латыш еврейского происхождения

Болезни и рабский лагерный труд подкосили здоровяка — латыша Балодиса. Он больше смахивал на немецкого графа, чем на латыша. Даже здесь, в неволе, где он работал в прачечной при швейной мастерской, начальство проглядело его усы, запрещенные в лагере. Свои усы он холил и лелеял, подкручивая их вверх, что придавало ему аристократический вид. Будучи физически крепким человеком, Балодис ежедневно выполнял две нормы, хотя работа была не из легких.

Наш начальник не зря каждый месяц получал премии за выполнение плана. Из старых прогнивших фуфаек и ватных штанов в нашей швейной мастерской шили одежду для всего Тайшетлага. Но сначала весь этот утиль отправляли в прачечную. Стиральных машин, разумеется, не было, все делалось вручную. Да и зачем нужна техника, когда в избытке столько дармовых рабочих рук? Такой парой рук был и Балодис — вроде живой машины. Правда, наш здоровяк прихрамывал, но все знали, что это у него не от слабости или ревматизма. Этот «подарок» латыш получил от следователя-мучителя, сделавшего его калекой на одном из допросов с пристрастием.



Балодис, будучи во время немецкой оккупации студентом четвертого курса медицинского института в Риге, работал в военном госпитале. Когда после войны за него серьезно взялись «органы», он этот факт и не отрицал, но энкавэдэшники хотели от него услышать о латышской националистической организации, в которой он якобы состоял. Его долго били палкой по голым пяткам до тех пор, пока этот атлет на всю оставшуюся жизнь не стал инвалидом. Но и хромой, с палочкой, Балодис выглядел физически крепким.

Работал он как лошадь, а по вечерам корпел над книгами по медицине, которые привез с собою в лагерь. Сходиллся этот латыш лишь с евреями, хотя видел, как относятся к ним ээки-антисемиты. «Все-таки странно, — размышлял я, — отчего его так тянет к евреям?»

Загадка прояснилась позже, когда этого крепкого зэка скосил внезапный недуг — кровоизлияние в мозг, в результате чего его наполовину парализовало. Ээки-латыши сделали все возможное, чтобы его спасти. Его отвезли в больницу, где он пролежал несколько месяцев. Вернулся оттуда он полным инвалидом, волоча безжизненную ногу, с онемевшей рукой. Работать он больше не мог.

Однажды он раскрыл мне секрет своей симпатии к евреям. Я тогда болел, лежал в лагерном стационаре, и наши кровати стояли рядом. Сколько раз я просил Всевышнего, чтобы Он наслал на меня болезнь, так как никаких сил для работы у меня уже не было. Однажды мои мольбы дошли до Него, и я свалился с воспалением легких. Мое тело от жара горело, сердце ослабло от чрезмерного употребления салициловой кислоты (других нужных лекарств в лагере не было), к тому же у меня началась цинга. Из разговоров с врачами я понял, что жизнь моя в опасности.

Лежу я однажды ночью и не могу уснуть от боли. Уже дважды я просил доктора дать мне болеутоляющее. А ночь тянется и тянется, будто все ночи в мире слились в одну бесконечную ночь. И вот в эту самую ночь Балодис раскрыл мне свою тайну. Сначала я не мог понять, о чем он говорит, но когда его слова стали до меня доходить, то от изумления я забыл о своей сумасшедшей боли.

...Ему было всего несколько месяцев, когда во время Первой мировой войны его настоящие еврейские родители вместе с тысячами других

жителей Риги бежали из города. В панике и суматохе они потеряли своего малыша. Младенца нашла и усыновила бездетная супружеская пара латышей, его крестили и воспитали в далеком, разумеется, от еврейства духе. В детстве и юности он посещал кирху и лет до двадцати даже не подозревал, что он приемный ребенок. Его нынешним родителям не составило особого труда скрывать этот факт: мальчик не был обрезан.

О своем происхождении он узнал случайно. Соседи неожиданно сильно разругались с его родителями. Тайна его рождения была им известна, и во время ссоры они ее выболтали парню. С того момента он потерял покой и сон. Как и другие латыши, он находился в гитлеровской оккупации и даже работал в немецком госпитале. Он с горечью и болью наблюдал, как жестоко действовали нацисты в отношении евреев, и кровь стыла в его жилах. Насколько было возможно, он тайно помогал рижским евреям во время оккупации. Одно время прятал от немцев в съёмной квартире студентку-еврейку с медицинского факультета, приносил ей еду, всячески заботился о ней.

Никто в лагере не знал о его еврейском происхождении. «Но, понимаешь, — говорил он мне, — я чувствую себя евреем...»

Позже, когда мое состояние улучшилось, я стал обучать Балодиса ивриту. Что удивительно, еврейский алфавит он выучил за несколько дней.

— Странная ситуация, — откровенничал он. — Если мои латвийские друзья-лагерники узнают, что я еврей, они от меня отвернутся...

Я делился с ним своими познаниями о сути гиюра, рассказывал о горькой судьбе еврейского народа, преследуемого веками. Быть евреем очень непросто; нееврея, принявшего каноны Торы и готового за нее пострадать, следует приблизить к себе и возлюбить.

За время нашего совместного пребывания в больнице я научил его устно и письменно многим словам на иврите. Мой собеседник живо интересовался еврейской историей, еврейскими обычаями. Думаю, у него хватило бы мужества вернуться в еврейство, но неожиданно с ним случился второй удар, которого он уже не пережил. Когда я позже рассказал о нем бухарскому еврею-хасиду р. Аврааму-Хаиму, тот сокрушался: «Какая еврейская душа пропала! Эх, кабы я знал об этом, то обязательно вернул его к нашим истокам!»

Пёс по кличке Тихий

Пёс по кличке Тихий, смесь дворняги с охотничьей породой, стал частью нашей общей лагерной судьбы, и без этого домашнего животного жить нам было бы намного печальней.

Собак в нашем лагере было предостаточно, особенно волчьей породы: высокие, с острыми клыками и бешеными глазами. Овчарки ежедневно сопровождали бригады на работу и обратно; конвойные не совсем доверяли своим автоматам и всегда водили за собой свору псов. В лагере находился целый питомник, где собак-ищеек кормили и обучали ремеслу охраны заключенных.

А пёс Тихий был *наш*: он как бы принадлежал всем энкам, которые вырастили его и воспитали себе на радость.

Это происходило уже после смерти Сталина. Режим пребывания в лагере стал чуть мягче, и, наверное, поэтому начал Ермилов проглядывать момент, когда отличник производства Гришка Федоров, бывший вор, выполняющий норму на двести процентов, похитил из собачьего питомника крошечного щенка.

Как-то Гришку и еще нескольких энков отправили на заготовку дров для гарнизонного поселка, где проживала обслуга лагеря. Заодно им было велено протопить печь в питомнике для



собак. Там-то между делом Гришка и прихватил маленького щенка, спрятал его за пазухой и принес в барак. Он дал ему кличку Тихий — в противоположность псынам, лающим днем и ночью и строго бдящим за эсками.

Поскольку Тихий был еще совсем маленький и полуслепой, Гришка поместил его в коробку, настелив в нее ваты, вырванной из фуфайки, и подкармливал сахаром. Весь наш барак старался чем-нибудь побаловать это крошечное существо. Угощали даже сгущенным молоком и медом, присланными какому-то эзку из родных мест. В печальное однообразие наших будней Тихий внес немного радости. Выползая из своего жилища, он веселил нас своей щенячьей непосредственностью, бегал по полу и, беспомощно перевернувшись на спину, смешно дрыгал лапками.

Когда Тихий подрос, он стал бегать по территории лагеря, от барака к бараку, цепляясь к каждому встречному эзку, когда бригады возвращались с работы. Тихий приучился есть ту же лагерную пищу, что и мы: черный хлеб, кашу, тушеную капусту, пустые щи, осточертевшие нам за долгое время в неволе. Он быстро рос, стал крепким и сильным. Гришка, не чаявший в нем души, учил его разным навыкам и трюкам собаки-ищейки: давал ему нюхать чей-нибудь платок, затем прятал его, а Тихий, благодаря своему острому обонянию, мгновенно его находил.

В этом деле Тихий здорово помог нам, «разоблачая» тех эзков, которые воровали в бараках. Как правило, это были мелкие уголовники, с которыми лагерники расправлялись на свой лад. Кстати, Тихий каждого воришку знал и, если тот пытался его погладить, бросался на него с громким лаем.

Спал Тихий очень чутко, ложился у входа в барак — и пусть кто-нибудь из посторонних попробует войти! Даже нашим охранникам и другим «друзьям» в погонах он не делал исключений. Тихий чуял в них противников и не переставал гавкать, пока Гришка не вставал с нар и не успокаивал его. Даже нашему начальнику лагеря Тихий устраивал «достойный прием», таякая что есть мочи, когда тот появлялся в бараке. Это при том, что все лагерники вытягивались перед начлагом в струнку. Не раз Ермилов требовал, чтобы мы «перевоспи-

тали» нашего пса, но Тихий не поддавался лагерной дисциплине — и все тут! Когда Гришка начинал его увещевать вести себя прилично, тот недобро смотрел на него, как бы говоря: «Что ты от меня хочешь? Разве я не знаю, что ты ненавидишь начальника еще больше, чем я?»

Для слепого зэка Михаила из соседнего барака Тихий был зачашую вместо поводыря. Для этой цели Михаил приготовил поводок, и Тихий вел его туда, куда тот прикажет. Этого несчастного беспомощного зэка Тихий особенно любил, завидев его, крутил хвостом, словно издавдала почуял миску с варевом, в котором плаваает кусочек мяса, — редкое в лагере угощение...

Свои счеты с Тихим были не только у начальства и охранников, но и у овчарки-волкодава по кличке Восток, самого злого пса из конвойной своры. Не раз эта псина рвала в клочья одежду на зэках и кусала до крови, едва заслышав злой окрик охраны.

Однажды Тихий, спрятавшись в колонне зэков, шедших на работу в тайгу, незаметно выскочил из лагеря. По дороге его никто из нас не заметил, Тихий обнаружился лишь в лесу. Красавец, с мягкой серой шерстью, хвост пушистый, как у лисы, в глазах — зеленые огоньки. Он носился между деревьев и кустов, остро реагируя на каждый шорох. Гришка, которому из десятилетнего срока оставалось еще полгода, мечтал, что заберет Тихого с собой. Без любимого пса Гришке на воле не жизнь!

Но иди знай, что случится в следующий момент...

Без особого страха Тихий подкрался к Востоку, но тот злобно огрызнулся и укусил его. Тихий вырвался и, скуля от боли, убежал куда-то в лес.

Гришка понял, что дело плохо, но пойти за собакой не мог: вокруг нашего участка — запретная зона. «Тихий! Тихий!» — звал он. Мы все замерли... И вдруг, как из-под земли вырос, наш Тихий появился около конвойного пса и с такой силой вонзился ему в горло, будто всю свою прежнюю тихую жизнь копил силы для этой схватки. Восток рвался во все стороны своей огромной волчьей тушей, бил Тихого лапами, рвал когтями, но тот не разжимал своей смертельной хватки.

Гришка стоял белый как мел, осознавая, что последние минуты

видит своего любимца живым... Раздалась автоматная очередь... Это была месть вертухаев нашему Тихому.

В бараке снова стало тихо и тоскливо...

Заклученные из Норильска

В нашем лагере особое внимание привлекал к себе цыган по имени Шилам. Никто не интересовался, каким образом он попал сюда, где сидят в основном политические. Мы не спрашивали, так как понимали: чтобы стать политэзком в Стране Советов, многого не требуется...

Жена Шилама вместе с четырьмя детьми следовала за ним по всем лагерям. Шилам говорил, что у них, цыган, такой обычай: куда муж, туда и жена.

Юная черноволосая красавица-цыганка с такими же черными горящими глазами часто посещала мужа в лагере. Для нее не существовали ни начальник, ни охрана. Она прорывалась через любые преграды и каждые два-три дня приносила мужу передачи. Хотите знать, на что она жила с детьми? В сопредельных с лагерем деревнях и поселках она гадала на картах. Со времени революции прошло уже несколько десятилетий, а русского человека все равно тянет к мистике, чудодействию и колдовству. Женщины по-прежнему верят в вещие сны и просят их толкования. Раскинуть карты и погадать — для цыганок обычное дело, и тут им есть где развернуться. Они зарабатывают приличные деньги не только в деревнях, где проживает народ попроще, но и в городах, общаясь с интеллигентными людьми.

Должен сказать, что у нас в лагере каждый третий эзк видел вещие сны. Я знал почти все значения этих сновидений: привиделась во сне церковь — это к скорому освобождению; берешь что-либо у покойника — жди опасности; держишь в руках веревку — останешься в лагере надолго... Мистические способности, которыми якобы наделены цыгане, как ни странно, пугали наших начальников. Наверное, поэтому Шилам трудился на совсем не пыльных должностях, и по этой же причине его привлекательная жена виделась с ним каждую неделю.

Но «цыганская тема» поблекла на фоне другого события: в наш лагерь прибыли ээки из Норильска.

Слухи о бунтах в ряде лагерей доносились до нас и раньше, в том числе и о восстании в Норильске, где погибло почти триста заключенных. И вот к нам в лагерь прибыло большинство норильских ээков, оставшихся в живых после подавления бунта.

Появились они сентябрьским днем, измученные дальней дорогой, около трехсот человек. Это были инвалиды, в основном бандеровцы, причастные к деятельности антисоветских подпольных организаций на Западной Украине.

Они сразу же принялись рассказывать подробности неравной борьбы безоружных заключенных с войсками МВД, на вооружении которых были автоматы, пулеметы и даже танки. А началось всё из-за жуткого режима содержания ээков в лагере, издевательств со стороны охраны и ужасной кормежки.

К тому же украинцы-западненцы, которые вообще были хорошо организованы в лагерях, узнали, что в одном из женских лагпунктов охранники изнасиловали их землячку, что, разумеется, подлило масла в огонь. Из лагеря, где это произошло, они получили письмо, в котором женщины призвали мужчин к мщению.

В Норильске, где несколько месяцев в году длится ночь, а температура опускается до семидесяти градусов мороза, заключенные находились в тяжелейших условиях. Удаленность от центра сделала тамошних лагерных начальников полными властителями над ээками. Лагерников изматывали на стройках каторжным трудом; потом власть похвалялась «современными городами, возведенными на вечной мерзлоте...»

Заключенные-норильчане выдвинули требования, которые начальство попросту проигнорировало.

Бунт длился несколько дней. Сначала ээки зарезали всех сексотов, доносивших начальству обо всем, что происходило в лагере; затем добрались до нарядчиков, назначавших ээков на самые тяжелые работы в каменоломни и устанавливавших для них невыполнимые нормы выработки. Восставшие вооружались всем, что попадало под руку: поленьями, арматурой, камнями, палками. Отобрав у охраны

несколько винтовок, открыли огонь и стреляли до последнего патрона. Лагерь был окружен танками, и начальство предъявило энкам ультиматум: немедленно сдаться. Уже были десятки убитых среди энкав и охранников, но лагерь держался героически и не сдавался. Внезапно на территорию лагеря въехали танки и двинулись прямо на бараки, давая всех, кто в них находился, в основном это были старики и больные, кто не успел выбраться.

В тот день погибло почти триста энкав. После пролитой крови из Москвы прибыла комиссия, и начальника, отдавшего приказ о вводе танков в лагерь, арестовали. Началось расследование, которое подтвердило факты издевательств над заключенными. Было решено пойти на компромисс и против бунтовщиков не принимать никаких санкций. На самом же деле руководителей восстания вместе с его активными участниками сразу отправили на отсидку в другой лагерь, где к энкам относились еще хуже, чем в Норильске. Оставшихся проверили медики, выявили инвалидов, которых затем отправили в лагпункты Восточной Сибири. Вот так триста энкав-инвалидов из норильского лагеря попали к нам. С собой они привезли бунтарский дух, которым вскоре заразили и нас.

Несколько месяцев норильчане вообще не выходили на работу. Те, кто помоложе, вечерами выходили из бараков и пели хором свой национальный гимн. Наш начлаг Ефименко пытался изменить ситуацию в лагере, но безуспешно. Тогда из особого отдела явились люди, чтобы разобраться с украинцами и наверняка разогнать их по разным лагпунктам.

Старшего из особистов один из норильских энкав сразу узнал. Это он в 1950 году, встретив в Норильске эшелон с новыми сидельцами, сказал:

— Вы здесь заранее можете вырыть для себя могилы, свободы вам не видать...

С момента той встречи особист вырос до начальника отдела, а энка так и остался энком. Все оставалось по-старому.

Все, да не все. В московских «Известиях» сообщили, что в результате договоренностей с западногерманским правительством во главе с канцлером Конрадом Аденауэром из мест заключения осво-

бождаются все немецкие военнопленные. Также появился указ, подписанный Председателем Верховного Совета К. Ворошиловым, где говорилось об амнистии советских граждан, сотрудничавших с немецкими оккупантами, за исключением тех, кто принимал участие в карательных акциях.

Эта история вызвала горькие комментарии эзков. Оказывается, гитлеровцы и их пособники имеют больше прав на свободу, чем без вины виноватые.

Бунт в родном лагере

Указ об амнистии лиц, сотрудничавших с нацистами и служивших в вермахте, вызвал в лагере неоднозначную реакцию. Выходило, что гитлеровцы, кроме тех, кто служил в карательных отрядах и убивал людей, выйдут на свободу! И в то же время многие осужденные на срок от десяти до двадцати пяти лет исправительно-трудовых лагерей сидели за такие «преступления», по которым даже не существует оснований для ареста в странах, где считаются с законом и правосудием.

И в нашем лагере тоже отбывали наказание настоящие преступники, пособники фашистов: этот служил в гестапо, тот охранял нацистские лагеря смерти, третий убивал евреев. И содержались они в тех же условиях, что и те, кто отважился высказать свободное мнение, обронил безобидное слово, которое было истолковано как критика советских порядков. Причем наказание в этих случаях было значительно жестче, чем за убийство или грабеж.

Эки, о которых было известно, что они убийцы евреев, костями ложились, чтобы попасть под амнистию. Они строчили апелляции, в которых сообщали, что просто сотрудничали с немецкими оккупантами, в массовых убийствах не участвовали. Дошло до абсурда, когда один из них задал начальу вопрос: «Гражданин начальник, я убил всего лишь двух евреев, но в карательном отряде не служил. Можно ли мне подать апелляцию?»

Уже была готова к отправке домой первая партия нацистов. Боль-

шая часть из них — бывшие гестаповцы. Звучит парадоксально, но в этой группе были и простые немцы, доставленные сюда по подозрению в шпионаже в пользу США. Один из них, 73-летний часовщик, тоже «американский шпион», был арестован и отправлен в лагерь на десять лет за то, что его дочь гуляла с американским офицером. Был еще в этой группе баптистский пастор, который пострадал за веру, причем в годы, когда у власти был Гитлер.

Подлежали амнистии и украинцы, служившие в германской армии. Но таких было не так много, потому что у многих в «делах» стояли отметки о пребывании в карательных отрядах. Подавали апелляции и разные ээки из простых советских граждан. Было обидно, что на свободу выходят заклятые антисемиты и всякое бандитское отребье.

Меж тем на наш лагерь надвигалась буря. Видимо, бунтарский дух из других лагерей переместился в наш и помог политэнкам организовать в единую силу. Наши требования состояли в том, чтобы из лагеря убрали уголовников, которые всю беспредельничали: крали из кухни продукты и даже по ночам пробирались в бараки и уносили всё, что плохо лежало...

В бараках, где проживали политзаключенные, было заведено так: все наши вещи оставались на виду, но никто ни у кого без спросу ничего не брал. Участвовавшие случаи воровства вызвали беспокойство: и дня не проходило, чтобы из барака что-нибудь не исчезло. Причем воры делали это так ловко, что наш дневальный ничего не замечал. Понятно, что все шишки за кражи сыпались на его голову.

Помимо краж, эти подонки занимались ловлей собак, убивали их, а мясо жарили и съедали. Это еще больше прибавляло к ним отвращения.

Дружные, хорошо организованные ээки, недавно прибывшие из Норильска, несколько раз ловили воров, которым при этом здорово доставалось.

Норильчанам стало известно о том, что урки точат ножи и готовятся к «генеральному наступлению». Этой активной уголовной шушеры насчитывалось человек двадцать. Руководство лагеря пре-

красно знало об их «проделках», но на наши просьбы убрать уголовников из лагеря не реагировало.

В каждом лагпункте по всей линии Тайшет – Лена таких подонков было предостаточно. И так уж случилось, что примерно в одно и то же время во всех этих лагерях началась борьба политзэков против уголовников. Цель была одна: выдворить их вон из наших лагерей!

Но борьба эта не из легких. По старой привычке начальство всегда было на стороне уголовников, утверждавших, что они граждане, преданные советской власти, и помогают ей в борьбе с «политическими», которых они называли фашистами.

Как только этих подонков выгнали из бараков на территорию лагеря, они подняли гвалт и с ножами набросились на политических, но те стали срывать с них одежду, лупить палками и гнать к воротам лагеря. Началась огромная заварушка, часовые на вышках стали стрелять в воздух. Появилось начальство с вооруженными охранниками, но их было мало, чтобы навести порядок. Вызвать охрану из соседнего лагпункта начальство не могло, поскольку там в это же время происходила подобная история.

Начальник лагеря предпочел не занимать ничью сторону. Зато усердствовал начальник режима, дегенерат и мерзавец. Он взобрался на вышку и стрелял оттуда из пистолета в толпу, ранив одного политзэка. Тогда политические поставили условие: если не уберут уголовников, то они их линчуют на месте. Наконец, начальство решилось пойти навстречу, но лишь частично. На целую неделю лагерь закрыли: на работу никого не гоняли, искали зачинщиков бунта. Но выяснить ничего не удалось, эки молчали. Было так организовано, что все, кого мы подозревали в стукачестве, вынуждены были убраться из лагеря. Начальника режима мы предупредили: появившись на территории лагеря — живым отсюда не выйдешь.

Похожие бунты проходили во многих лагпунктах Тайшетлага. Когда начальство забило тревогу, сообщив о них в Москву, из столицы ответили примерно так: «Принимайте решение на месте, не до вас сейчас».

Шолом-Алейхем и «Песнь песней»

Найти в нынешние времена книги Шолом-Алейхема и наслаждаться его грустными и смешными произведениями — совсем не проблема. Но даже в те годы и в том месте, где, казалось, кончается мироздание и начинается ад, еврейские ээки советского каторжного лагеря читали в своем узилище Шолом-Алейхема! Причем читали мы не печатную книгу, а рукописный текст, который тайком передавали из рук в руки...

...Неожиданно, это было начало 1955 года, когда каторжный режим в лагерях чуть смягчился, мы узнали, что из соседнего лагпункта, расположенного у реки Лены, к нам приезжает с концертом бригада артистов.

В отличие от некоторых исправительно-трудовых лагпунктов, наш лагерь с особым режимом не имел собственного любительского театра. Поэтому в такие лагеря навевывалась время от времени передвижная артбригада, обслуживающая систему лагерей Тайшетлага. Передвигалась эта бригада в специальном вагоне; ее артисты имели особые привилегии: одевались элегантно, не стриглись наголо, а носили модные прически; некоторым по необходимости разрешалось даже выходить из лагеря без конвоя. С бригадой разъезжали представитель управления лагерей и охранник (не больше одного конвойного). Подобные бригады набирали главным образом из профессиональных актеров-зэков, среди которых встречались довольно известные имена.

В нашем лагере со спецрежимом таких привилегий не было. В начале 1950-х, накануне смерти Сталина, даже большие специалисты своего дела — инженеры, артисты, врачи (за исключением одного доктора в лагерном медпункте) — были заняты на общих тяжелых физических работах: рыли ямы, таскали мешки, валили и пилили деревья, кололи дрова.

Прибывшая к нам бригада артистов состояла из десяти человек — шести мужчин и четырех женщин. Почти все они были профессиональными артистами московских и ленинградских театров.

Среди них была известная артистка ленинградского Театра са-

тиры, женщина средних лет, обладавшая тонким вкусом и великолепно исполнявшая комические роли. Остальные — красивые юные артистки: исполнительница украинских народных песен; баянистка-татарка и столичная виолончелистка.

Мужская половина состояла из экзотического фокусника, тромбониста-виртуоза и первоклассного скрипача — еврейского юноши из Латвии.

По такому редкому случаю на представление пригласили почти всех служащих лагеря. Существенная деталь: сразу столько женщин в лагере не собиралось никогда. Представительницы прекрасного пола расположились перед огромным занавесом у самой сцены — в клубном бараке, в котором находилась культурно-воспитательная часть. Многие из них артистично дымили дорогими папиросами, а не махоркой, завернутой в клочки газетной бумаги, как это делали мы, эзки. Женщины при макияже, улыбаются и охотно отвечают на флирт молодых эзков.

В связи с этим мероприятием мобилизована и лагерная кухня. Накануне представления нарядчики обошли бараки, собрав с лагерников дань — все лучшее и вкусное, что они в посылках получили из дому. Белая мука, сахар, масло, копченая колбаса, какао и даже шоколад — из всего этого повара приготовили вкусные блюда. Невесть откуда появляются стеклянные стаканы («человеческая посуда» — постоянная мечта эзков). Артистам выносят огромный поднос с вкусоностями, накрытый белоснежной салфеткой.

Особый интерес у еврейской части лагеря вызвал скрипач из Латвии. О нем мы уже были немного наслышаны от эзков из соседних лагерей. Но не только евреям, даже нашим лагерным антисемитам было известно о его волшебной игре. Этот одаренный еврейский юноша был наделен нежными чертами лица. Казалось, что несколько лет неволи нисколько на него не повлияли. Особенно этим скрипачом интересовался еврейский писатель Р., издавна знакомый с его родными.

Еще мальчишкой, в 1940 году, будущий скрипач вместе с семьей был депортирован из Латвии в Сибирь из-за того, что отец владел фабрикой. В сибирской ссылке юноша, проявив большие способности,



с отличием окончил физико-математический факультет университета. Вместе с точными науками у него выявилась и исключительная тяга к музыке. Так что одновременно с физматом он окончил и консерваторию.

25 лет лагерей парню «впаяли» по ложному обвинению в принадлежности к подпольной организации еврейской молодежи в Сибири, на сходках которой слушали передачи радиостанции «Голос Израиля» и публично выражали симпатии к сионистскому государству.

В нашем лагере этот юноша из Латвии особенно интересовался еврейскими писателями. Мы его ненадолго зазвали в барак, где жил Мойше Бродерзон. Тот обнял его, как родного сына. Глядя на юношу, мы удивлялись: грубость и мерзость лагерной жизни не коснулись его. Молодой скрипач рассказал нам, что все это время он продолжает учиться и спросил, не можем ли мы одолжить на время книгу. Я тут же побежал к нашему дорогому профессору С. Зэкам в то время

разрешили получать из дома книги и профессор успел собрать уже целую библиотечку. Он принес нашему гостю три философских работы.

Молодой скрипач был тронут.

— Дорогие мои! Я хочу оставить вам самое ценное, что у меня есть: эту книжечку на идише. Таких вы в лагере не найдете, и этим она особенно дорога. Это рассказ Шолом-Алейхема «Песнь песней». Я перечитывал ее десятки раз. А когда нет времени на чтение, я просто перелистываю страницы, чтобы полюбоваться еврейскими буквами. Перепишите эту книжку, а когда я приеду к вам в следующий раз, заберу ее.

Эту святыню мы вручили Мойше Бродерзону и писателю Р., обладавшим каллиграфическим почерком. Хотя лагерный режим чуть смягчился и ээкам уже разрешалось читать газеты, журналы и книги, но заниматься переписыванием еврейской книги было опасно: какой-нибудь тупоголовый охранник, не разобравшись, мог разорвать ее в клочья или передать начальству для разбирательства. Поэтому переписывать приходилось ночью, втайне от чужих глаз.

К тому времени Мойше Бродерзон лишился должности ночного сторожа. Острослов и выдумщик, он сочинял каждый день новые поговорки, в которых высмеивал начальство. Эти шутки были единственным способом отомстить за наши унижения. Его острые словечки шли по всему лагерю и, конечно, дошли до руководства, кому и были предназначены. За это его и убрали. Стоял, напомним, 1955 год и ээков его возраста, признанных инвалидами, негодными к физическому труду, уже не рекомендовали отправлять на тяжелые работы. У Бродерзона было спальное место на верхних нарах, на которых он полулежа читал. Там, спрятавшись от посторонних глаз, он переписывал «Песнь песней» Шолом-Алейхема. Когда Бродерзон уставал, за это дело в подходящее время и соответствующей обстановке брался писатель Р.

Радость евреев нашего лагеря от чтения Шолом-Алейхема невозможно описать. Это была первая еврейская книжка за столько лет пребывания в лагере. Этот уникальный экземпляр передавался из рук в руки. Вспоминаю, как писатель М. Герц-Мовшович, который был

в это время прикован к больничной койке, не смог дожидаться, пока ему принесут эту книжку, и сам и пришел в барак к Мойше Бродерзону. Еврей-лагерники читали рассказ и смеялись сквозь слезы. Этому счастью мы были обязаны еврейскому парню из Латвии, одному из многих мучеников нашей современной еврейской культуры.

Если бы моя мама увидела...

После небольшого бунта, который мы, политэзки, организовали против уголовников, поползли зловещие слухи о новых этапах. Будто бы нас, политических, отправят в каторжные лагеря к черту на куличики, как говорят в России.

Обычно забастовка считается прямым саботажем. За нее полагается полновесная 58-я. Но уходили старые времена, и эзки все меньше стали бояться грозных пунктов этой статьи...

В нашем лагере эта история произошла вот из-за чего: один из поляков по фамилии Стриковский объявил голодовку. Еще в годы Второй мировой войны, когда польское правительство во главе с генералом Владиславом Сикорским с сентября 1939 года находилось в изгнании в Лондоне, этот самый Стриковский в качестве представителя польского правительства был направлен в СССР. Так как прямые связи между Советским Союзом и эмигрантским правительством Польши отсутствовали, посланника арестовали, объявив шпионом, и на десять лет поместили в тюрьму. Несколько позже, сменив гнев на милость, его из Красноярского края отправили на спецпоселение.

Комендант ссыльного пункта забрал у него польские документы и записал его «лицом без гражданства». Доводы Стриковского, что у него имеются аж два польских паспорта, включая дипломатический, нисколько не помогли. Спустя несколько месяцев ему приписали, что он, находясь в ссылке, пытался организовать восстание против советской власти. И напустили ему еще десять лет. На работе с полемком произошел несчастный случай: ему оторвало четыре пальца на правой руке. Тем не менее Стриковский продолжал трудиться и позже его даже поставили руководить сельхозработами в лагере.

Когда стали поговаривать о возможном освобождении иностранцев, в том числе и поляков, Стриковский написал с десяток прошений в Москву и местному начальству. Отовсюду приходил один ответ, что он гражданином Польши не является, поскольку он «лицо без гражданства». Его утверждения, что это всего лишь самоуправство коменданта ссыльного пункта, результата не принесли. Тогда в знак протеста Стриковский объявил голодовку. На пятый день голодовки начальство решило кормить его насильно. Чтобы поддержать собрата по несчастью, политзэки решили объявить общелагерную забастовку. Почуввав новую смуту, начальство пошло нам навстречу, ходатайствуя перед Москвой о том, чтобы его признали бывшим гражданином Польши и включили в список иностранцев, подлежащих освобождению. И только тогда Стриковский прекратил голодовку.

Нет такой вещи, к которой бы человек не привык. В тяжелейших лагерных условиях мы боялись худшего — дальнего этапа. Боялся этого и я, так как был среди тех, кому на последней комиссии присудили вторую категорию. Хотя за последние несколько лет я вообще стал развалиной.

Плетусь с бригадой на станцию, где предстоит разгружать вагоны с мукой, сахаром и другими продуктами. О, если бы моя мама встала из могилы и увидела, как ее единственный сын, которого она мечтала видеть раввином, научился разгружать пульман с тяжелыми мешками муки! Я должен перенести на своем горбу 75 мешков на расстояние 150 метров, бросить на весы, затем отнести их на склад, а на складе — уложить эти мешки в штабеля. Рабочая норма для инвалида второй категории — шесть тонн ежедневно. Твой сын, дорогая мама, упал сразу, едва взвалил на себя первый мешок муки. Пробовал нести двумя руками, так и сяк, пока не разобрался, что таскать перед собой намного трудней, чем на горбу. Когда держишь мешок муки в руках, надрываешься. Состояние такое, будто из живота вываливаются кишки, и ты роняешь мешок на землю...

Мешок сахара весом в 90 килограммов твой сын таскать не в силах — слишком слаб для этого. Я не виню тебя, мама, что ты меня

вырастила таким и не научила таскать многопудовые мешки. Ты же не знала, что твоего сына ждет каторжный лагерь в Стране Советов. Проси там, на небесах, Всевышнего, всех моих праведных предков, чтобы они простили мои прегрешения и дали мне силы выдержать все мучения...

Когда вечером я прихожу с работы поздно, Мойше Бродерзон бежит по баракам и ищет меня, боится, не случилось ли что со мной. Увидев меня целым и невредимым, он улыбается, и когда я интересуюсь его состоянием, тяжело вздыхает и отвечает любимой фразой: «Лишь бы не было хуже!»

Да, мы все боялись, чтобы не было еще хуже. Мы знали, что хуже нашего лагеря может быть только «спецлагерь», в котором с тобой могут сотворить такое, что никто там, на воле, никогда не узнает, где твой прах. Из такого лагеря ты никогда не вернешься домой, даже если отсидишь все свои сроки.

О, если бы моя мама всё это видела!..

Накануне освобождения

В лагерь прибыла медицинская комиссия для активирования — то есть медики должны были определить состояние здоровья заключенных, выделить тех, кто полностью негоден к труду, и отправить домой.

Комиссия работала в трех направлениях: 1) эски, которые еще могут трудиться, остаются в лагере; 2) «спорные» эски — то есть те, чье состояние здоровья комиссия определить не может, для чего их направляют в больницу; 3) полные инвалиды и прочие недужные, которых нет смысла содержать в лагере ввиду их непригодности к труду.

Поэт Мойше Бродерзон попал в число «заактивированных» в третью группу, я — во вторую, то есть в спорную, которую надлежит отправить в больницу на обследование. Но комиссия комиссией, а нас с Бродерзоном по-прежнему долгие месяцы держали в лагере.

Процедура, предвещающая выход эска на свободу, известна: после медкомиссии следовало пройти другую — судебную, состоявшую из



судьи, прокурора и представителя управления лагерей. Такая «тройка» редко посещала лагерь, так что заключенные, «заактивированные» медкомиссией, ждали ее месяцами. Шейне-Мирьям, жена Мойше Бродерзона, живя в Москве, без устали тревожилась об освобождении мужа, и в одно прекрасное утро пришла телеграмма от генерального прокурора, чтобы Бродерзона направили на обследование в больницу, несмотря на то, что он там уже был. Спустя месяц туда направили и меня.

Был теплый осенний день, когда я покидал лагерь. Нас сопровождали на лошадях двое конвойных. Зэки-инвалиды вперились сидели на телеге, а такие, как я, еле плелись в этом дальнем пути. Я жадно глотал таежный воздух — это был воздух свободы. Вокруг нас — охранники с автоматами, но нет злых овчарок, сопровождавших нас все эти годы на каждом шагу. Сейчас я по-настоящему почувствовал красоту леса. Среди хвойных деревьев, сосен, елей, пихт, нет-нет да и мелькнет тонкоствольная березка, на листьях которой уже чувствуется осень. Таежные птицы так далеки от подлой действительности: по-прежнему чирикают друг другу свои песни. Из глубин лесной чащи веет приятный ветерок, нежно меня гладит, убаюкивает, внушает добрые надежды, и я почти сразу засыпаю...

Я не заметил, как присел на упавшее дерево и заснул от устало-

сти. Очнулся, когда меня разбудил один из охранников...

Десять километров мы уже прошли, до больницы осталось еще шесть. Боже, как я устал! Что стало с моим телом за все эти годы в неволе! Сердце колотится, не хватает дыхания. Ноги опухли, плетусь из последних сил — и вот мы уже у конечной цели.

В тот вечер, когда наша группа добралась до больницы, меня повели к нескольким врачам. Лишь плохое зрение давало мне право на обследование. Первым осматривал начальник комиссии в звании капитана. Он послушал мне сердце и по выражению его лица стало ясно, что он озадачен. Капитан велел прилечь на кушетку.

— Вы шли пешком? — спросил он. — Наверное, специально, чтобы участить сердцебиение?..

После краткого отдыха на кушетке мое сердце все равно не успокоилось. Капитан велел переночевать в палате и утром явиться на комиссию. А пока мне сделали рентгеновский снимок легких и сердца. Видимо, капитан не доверял рентгенологу и самолично присутствовал при этой процедуре.

Наутро в коридоре больничного отделения я повстречал Мойше Бродерзона. Он находился здесь на лечении и должен был предстать перед комиссией для «активирования». Этого сломленного и тяжело больного человека медик в капитанских погонах продержал целый час, чтобы в точности убедиться, не является ли еврейский поэт симулянтом, а когда Бродерзон сказал, что его уже дважды «активировали», капитан отделался русской шуткой: «Бог любит троицу»...

«Активирование» мало помогло Бродерзону и его снова потащили по этапу на север — в Молотовский лагерь. Это не могло не сказаться на состоянии поэта, чье здоровье и так было до предела ослаблено, и привело к преждевременной смерти через несколько недель после его возвращения в Польшу.

Этот капитан-медик и меня долго мучил. При «новых ветрах» апологетам режима все еще не хотелось расставаться с заключенными, из которых государство стремилось выжать последние капли здоровья. У меня при проверке установили: слабое зрение, порок сердца, отек ног вследствие тяжелейшего воспаления суставов. Но капитан не успокаивался и стал измерять давление. К моему «счастью», дав-

ление у меня было под двести. В конце концов меня «заактивировали» и отправили в лагерь ожидать решения судебной комиссии, которое может быть принято после медицинской.

Из Москвы все чаще приходили ответы на апелляции. Приезжали следователи, чтобы снова и снова проводить дополнительные действия. Эки отрицали свои прежние показания, вырванные у них когда-то под пытками. Следователи не торговались, запросто соглашались и писали то, что говорили заключенные.

Освободился по амнистии и профессор Г. из Москвы, специалист по питанию. Когда академик Отто Шмидт, исследователь Севера, предпринял свою экспедицию на Землю Франца-Иосифа, этот профессор-кулинар обеспечивал его специально изготовленными пищевыми концентратами. Профессор был женат на молодой девушке. Так случилось, что свадьбу устроили в дни праздника Песах. Во время свадебной трапезы кто-то из гостей, вспомнив про Песах, провозгласил тост: «Лэшана хабаа бэ Ерушалайим!» — «В следующем году в Иерусалиме!». На свадебном пиршестве было много приглашенных, и один из них донес куда следует: мол, профессор устроил не свадьбу, а «сионистскую демонстрацию». Жениху, виновнику торжества, приписали национализм.

Только сейчас его освободили. Во время отсидки профессор Г. работал в лагерной кухне консультантом шеф-повара. Судьба смеялась над ним все эти годы, и сейчас он собирал свои пожитки и горько улыбался:

— Лишь бы Ахашверош снова не сошел с ума!

Да, страх перед новым Ахашверошем, который может сойти с ума и запереть миллионы своих «рабов» в тюрьмы и лагеря, по-прежнему не давал покоя. Но вместе с тем каждый день у нас освобождали десятки заключенных, а кто-то из лагерного руководства даже учился у наших эзков ремеслу — «на черный день». Появились слухи, что системе тайшетских лагерей могут расформировать, и тысячи мелких и крупных начальников и охранников, обслуживающих ее, останутся без дела и заработка. Говорят, что наш начлаг уже подыскал себе приличное место — будет председателем в каком-то колхозе. Не хочет ждать до последнего, когда не из чего будет выбирать...

Прощание с Бродерзоном

Когда к нам прибыла комиссия для отправки заключенных в Молотовлаг, Мойше Бродерзон сказал мне:

— Они с ума сошли. Ты видишь? Они не знают, что делать.

Действительно, начальство было настолько взбудоражено последними постановлениями из Москвы, что, кажется, утратило способность трезво мыслить. Ох, и напились же они нашей крови за эти годы! Все у них шло как по маслу: эски бесперывно поступали в лагерь и были там бесправными рабами. С их протестами и жалобами никто не считался. Каждый начлаг подбирал себе рабов посильнее, поздоровее, а когда они приходили в негодность или умирали, система поставляла новых.

Теперь, по всей видимости, наступают другие времена. Но бывалые начальники знают: пройдет немного времени и лагеря будут снова заполнены — это Россия, таким, как они, на хлеб с маслом всегда хватит. А пока эти начальники замерли в недоумении. Лагеря понемногу пустеют, и каждый начлаг ждет разрешения отобрать свежую рабсилу. Разумеется, это зависит от важности и специфики производства в лагере.

Молотовский (Пермский) лагерь, куда отправили часть эсков (в том числе и Бродерзона), доказывает, что химическая промышленность важнее заготовки древесины. Теперь наш начлаг ноет, что ему не с кем будет работать, а вышестоящие начальники велят ему брать людей из других мест заключения...

Они точно сошли с ума, иначе зачем стали бы собирать таких калек, как Бродерзон, непригодных к какому-либо труду. Надо сказать, что в конце 1940-х — начале 1950-х заключенные, содержащиеся в спецлагерях и лагпунктах строгого режима, стремились попасть в Молотовлаг. Рассказывали, что режим там общий, с эсками обращаются сносно и нет ограничений в переписке, что там сотни цехов и есть даже цех игрушек.

— Еду делать кукол, — бодро сказал Бродерзон на прощание.

Достаточно было посмотреть на его измученное лицо, сгорбленную фигуру, потухшие глаза, чтобы понять сарказм этих слов.

Я помог ему донести до лагерных ворот узел с вещами и старался сохранить в памяти каждый миг нашего прощания. Четыре года мы были в одном лагере. Не сосчитать, сколько мучений и унижений мы вынесли. Мне всегда казалось, что лишь благодаря Мойше Бродерзону, который поддерживал меня в тяжелейшие моменты жизни,



я остался душевно здоров, не свихнулся от несчастий. Он утешал меня и внушал надежду, подбадривал своими шутками и едким словом по поводу всего, что происходило вокруг нас. Находясь рядом с этим человеком, я забывал о мраке и безысходности, в которых мы существовали.

Мы долго прощались, расцеловались, и Бродерзон расплакался, как дитя, предчувствуя свою скорую смерть. Мы виделись в последний раз.

Долгое путешествие по этапу к новому месту заключения окончательно подорвало его здоровье. Бродерзон скончался от сердечного приступа, едва вернувшись в Польшу, на пути в Израиль. Он не был среди расстрелянных еврейских писателей, но все лагерные мытарства приблизили конец этого доброго и талантливого человека. Сколько их было — дорогих моему сердцу евреев, сгинувших в советских лагерях... Вскоре нам сообщили скорбную весть — в лагерьной больнице скончался харьковский раввин р. Лев.

Нас, калек, оставшихся в лагере, перевезли в лагпункт № 010. Туда перебросили всех, кого «приговорили» к освобождению по состоянию здоровья как непригодных к трудовой деятельности. Режим здесь, можно сказать, вообще никакой: после работы нам даже по-

звolyют выходить за пределы зоны, следует только обратиться на контрольно-пропускной пункт.

С чем в этом лагере было проблематично, так это с обеспечением, особенно питанием. Так как мы числились «полуосвобожденными», то и начальство занималось нашим хозяйственным обеспечением спустя рукава. Раньше это был женский лагерь, в котором обрабатывали слюду. Когда заключенных отсюда вывезли, все пришло в запустение. Мы сами обсуживали себя: готовили дрова, по очереди таскали воду для кухни и жилых бараков. Помещение столовой зачастую не отапливалась, за порядком в бараках никто не следил — дневальным за эту работу больше не платили. Повара на кухне менялись каждый день, потому что постоянно кто-то освобождался. Хлеб, который привозили из пекарни соседнего лагеря, часто был уже твердый как камень. Зато у нас было преимущество: мы теперь вроде вольные, без охраны. Мы могли ходить в соседние деревни и поселки, разговаривать с людьми, наблюдать жизнь в этом далеком сибирском краю.

В двух километрах от лагеря, если перейти замерзшую речку, находилась старинная русская деревня Степановка. Жили в ней практически одни старики, и еще их родители там, в Степановке, родились. Нынешние жители деревни, как в старину, носили длинные бороды и специфические крестьянские головные уборы. В Степановке был колхоз, но старики с радостью вспоминали старые времена, когда зимой мчались на санях, запряженных тройкой лошадей, в Тайшет за керосином и съестными припасами на всю зиму. В Степановке каждый крестьянин радушно принимал у себя дома лагерников. Местные жители сетовали на то, что в деревне напрочь отсутствует медицинская помощь и, если кто-то захворал, обращались к доктору Левандо, нашему лагерному врачу.

Деревенский клуб был завален картофелем, и немногочисленная местная молодежь по вечерам собиралась на танцы у Миши, который виртуозно играл на баяне. Недавно Миша женился на деревенской красавице, 16-летней Катерине. Ее мать отбывала тут срок, и Катя родилась в лагере...

На их свадьбу была приглашена почти половина нашего лагеря.

Катина мама, сама еще молодая и красивая, потчевала арестантов не хуже, чем самого председателя колхоза. А как же: у нее широкая русская душа, хотя после такого свадебного пиршества ей придется потуже затянуть пояс и голодать, наверное, полгода...

Деревня Степановка

Многие зэки из нашего лагеря уходили на целый день в Степановку работать в колхозе, где «чужакам» платили поденно, в отличие от колхозников, с которыми рассчитывались в конце года. Причем каждый зэк нашел для себя еще и «теплый уголок». Кажется, ни в одной деревне не водилось столько вдовушек и просто одиноких женщин, как в Степановке. Часть зэков пыталась остаться в этой деревне. Во-первых, многих из них на воле уже никто не ждал. Пока они отсиживали свои длинные срока, потеряли семьи. Во-вторых, одновременно с желанием поехать домой этих вечных арестантов одолевал страх снова оказаться за лагерной оградой. Такие предпочитали не мельтешить перед глазами людей в погонах и поселиться в глубинке.

Украинцы находили углы в избах сосланных земляков. В последние годы войны их ссылали целыми семьями в этот дикий таежный край, где они тяжело трудились и потихоньку обустроивались. Избалованные женским вниманием мужики лезли в будки к стрелочницам... Такие будки стояли вдоль железной дороги через каждые шесть километров. Работа у стрелочниц была тяжелая, особенно зимой, когда им приходилось еще и чистить пути от снега, а его тут порой наваливало под метр. Зэки помоложе, возвратившись в лагерь после таких вылазок, рассказывали о своих «успехах», живописуя скандалы, которые им устраивали обманутые мужья.

Рядом с нашим лагерем был магазин, где торговала жена какого-то офицера из администрации. Продавался тут всякий залежалый товар: дорогие папиросы, которые местное население вообще не покупало, заплесневелая колбаса, протухшие консервы. Но главным достоянием была водка, сильно разбавленная водой. В этой лавочнице зэки признали надзирательницу из женского лагеря. Рассказывали, что

она за какую-то провинность привязала зимой к дереву заключенную и так долго держала ее на морозе, что та отморозила руки и ноги. Теперь эта бывшая охранница каждому расточала фальшивые улыбки. Но зэки ей все равно мстили, устраивая всякие каверзы: били стекла в лавке, в емкость с растительным маслом подбросили дохлую кошку, а однажды ночной сторож еле потушил пожар, который кто-то заблаговременно устроил с вечера.

При встрече зэки ее подначивали:

— Софья Никитична, что будет делать ваш муж, когда лагеря ликвидируют? Говорят, через месяц все лагеря опустеют...

— Никогда в жизни! — категорично отвечала женщина. — Быть такого не может!

— Это правда, Софья Никитична, уже есть приказ. Ваш муж, майор, будет пастухом в колхозе...

Ко мне в дверь стучатся дети из окрестных домов. Сколько лет я не слышал их беззаботного смеха! Снега в эту зиму выпало много, и я с удовольствием играю с ними в снежки. Детишки привыкли к незнакомому «дяде» и провожают меня в лагерь. Разумеется, в лагерь охранники их не пускают. Малыши стоят у колючки и плачут от обиды...

К Витьке Косому, отсидевшему уже второй срок, на свидание приехала жена. А Витька наш — кожа да кости, потому каждый зэк пытается «сделать из него человека». У кого что есть приличного, все несут Витьке — пиджак, рубашку, чтобы он перед женой предстал в приличном виде. Лагерный парикмахер сделал ему красивую стрижку, обрызгал тройной порцией одеколона. Зэки благословили его и пожелали удачи.

Вернулся Витька наутро сам не свой:

— Жена сказала, чтоб я домой после отсидки не возвращался, не хочет жить с импотентом...

В лагерь с воли приходят грустные письма от тех, кто недавно освободился. Эти послания зэки обсуждают, пересказывают друг другу. Один пишет: «В лагере я мог говорить то, что хотел, а на воле мне пришлось закрыть рот».

Чем ближе день освобождения, тем хуже настроение у ээка. От некоторых вышедших на свободу родственники отказались как от лишнего груза. Многие из нас смертельно больны и к семейной жизни непригодны. Но в Степановке одинокие женщины жалеют нашего брата. Приходят к начлагу с подарками и тот их сватает. Он заинтересован, чтобы его люди оставались на месте.

Наконец, подошел и мой черед. На прошение, отправленное мной полтора года назад, из Генпрокуратуры пришел ответ. Рассмотрев мою жалобу, они постановили исключить пункт 11 из статьи 58 и, согласно пункту 10, часть 2, уменьшить наказание с десяти до пяти лет. При этом я попадаю под амнистию в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года об амнистии, освобождаюсь от наказания и выхожу на свободу.

Но полностью наказание с меня не сняли, позволить себе это советское правосудие не могло. Из обвинения убрали лишь 11-й пункт. Фактически это означало: наказание за организацию антисоветской группы уменьшается наполовину. Но я же отсидел семь лет! Поди потребуй теперь с советской власти ответа за лишние два года...

Меня сразу перевели в другой лагерь, где я был полностью расконвоирован и даже не надо было отмечаться по вечерам на поверках. И что удивительно: там я встретил своего давнишнего нарядчика — бандита и антисемита Нестеренко, который нас, евреев, гнобил в лагере номер 051. Здесь его повысили в должности: он теперь сотрудник отделения, готовящего документы на освобождение заключенных.

Наши еврейские проклятия на него нисколько не подействовали. Из-за боязни ехать домой на Украину, дабы там не нашелся свидетель его злодеяний во время немецкой оккупации, он осел в далеком сибирском поселке Чукша, женился, гулял и пил вместе с тамошним начальством. Так что дела у него шли блестяще — вот-вот получит паспорт...

В Чукше у нас появилась возможность посещать библиотеку и в местном клубе смотреть кинофильмы. Мы уже действительно начинаем себя ощущать вольными людьми. Процедура подготовки наших бумаг длилась сравнительно недолго — полмесяца. Оказалось, что

на каждого нужно исполнить пять документов и с ними затем ехать в район к начальнику милиции для выдачи паспорта. После этого отправиться в Тайшет, чтобы получить продпаяк на дорогу и, конечно, билет. Тайшет наводнен ворами. Нередко эзков здесь обкрадывают до нитки. На вокзале поезда приходится ждать по 3-4 суток.

И вот я уже в поезде. Конечный пункт моей «командировки» — станция Хабаровск. До нее пять суток пути, на которые я получил «командировочные» — три рубля на день. Этого едва хватит на хлеб и чай с сахаром. Ничего, перетерплю, все же я теперь вольная птица. Кому нужны эти деликатесы — яйца, масло, рыба и мясо? Да и голодать для меня дело привычное. Все-таки я дожил до свободы и теперь могу почуять ее сладкий запах!

Стоял февраль 1956 года...

Назад в Биробиджан

Я трясусь не в запертой клетке столыпинского вагона, не в замаскированном товарняке. И если бы не ватная телогрейка, засаленные ватные штаны и огромные лагерные ботинки, я вполне мог бы сойти за обычного гражданина. Правда, наверху, на багажной полке, лежит не чемодан, а обычный мешок с моими пожитками. Но до моего внешнего вида здесь никому нет дела. К тому же в вагоне едут мои «товарищи по счастью» — освободившиеся из рабских лагерей, да и простые пассажиры, никогда в лагерях не бывавшие, выглядят едва ли элегантнее нас, особенно на этой железнодорожной ветке, в далекой Сибири.

Мы, бывшие политэзки, не стыдились своего вида перед другими пассажирами. Простой русский человек сочувствует бывшим арестантам. С кем бы я ни разговаривал в поезде, оказывалось, что у моего собеседника обязательно кто-то сидел в лагере: близкий или дальний родственник, друг или просто знакомый. В поезде всегда чувствуешь себя особенно. В поезде развязываются языки, здесь выговариваются от всего сердца. Пассажиры спрашивают о родственниках, от которых годами не было весточки, и многие не ведают, на каком лагерном пого-

сте лежат их кости. Люди плачут, вспоминая близких, которые сгинули в лагерях еще в 1937–1938 годах, во время известных «чисток».

Снова проезжаю мимо Байкала. Поезд целый день петляет между горами и сопками, и Байкал все не кончается. В России его называют «славным, священным морем», о нем поют песни и слагают легенды. Когда меня везли в лагерь в арестантском вагоне, я не замечал всей красоты озера. Знаю только, что некоторые зэки тогда просили Все-вышнего, чтобы состав скатился с моста прямо в Байкал...

Сейчас я вижу это славное море во всем его величии. Байкал широк, как русская душа, в которой трудно разобраться. Она кажется доброй, готовой пожертвовать собой, но когда ее угнетают, она способна на жестокость — и по отношению к самой себе, и по отношению к другим...

И вот я снова в Биробиджане. Прибыл в город ранним зимним утром, держа в руке мешок с пожитками. Дома, деревья, целые улицы дремлют под снегом. Я вошел в гостиницу, и женщина-администратор меня узнала, обрадовалась встрече. Она поинтересовалась, реабилитирован я или просто амнистирован. Да, удивительно, как народ здесь стал разбираться в подобных вещах!

Женщина оказалась права: тот факт, что я не был реабилитирован, доставил мне в следующие пару месяцев немало неприятностей.

Люди, с которыми я общался, относились ко мне с недоверием, ибо к тому времени многих бывших политических заключенных уже полностью реабилитировали. Что касается биробиджанских еврейских писателей, то они были только амнистированы. С них еще не снята «вина», которая выражалась в «искусственном насаждении еврейской культуры в Еврейской автономной области». Наказание просто было сокращено наполовину: вместо десяти лет — пять...

Чудо, что знакомый инженер-еврей на местной швейной фабрике устроил меня к себе на работу с довольно скромной зарплатой, которой мне хватало лишь на десять дней. Квартину, где я жил до ареста, отобрали, новую мне не дали, и я снимал угол на кухне у небогатой семьи.

Моя хозяйка разместилась с сыном в большой комнате. Парень (ему было 17) работал на мебельной фабрике, но его заработка явно не хватало на содержание дома. Мать подрабатывала тут и там. Дом у них был частный, из первых биробиджанских построек. Я спал в углу кухни и платил за это сто рублей в месяц — треть моей зарплаты. Но я рад и тому. На фабрике я проверял состояние тканей, отправляемых на раскрой, то есть следил, чтобы в ткани не было брака: дырок, плесени, грязи и т.п. Я определял, соответствует ли сукно данной фактуре, поднимая при этом тяжелые рулоны. Затем ткань разрезали, и я разносил разрезанные куски по участкам.

Я благодарен и хозяйке за жилье. Эта женщина помогла мне, когда никто не хотел меня приютить, отделяясь всякими отговорками. Люди боялись вчерашнего лагерника. За 200 рублей, что у меня оставались от заработка, я мог протянуть всего лишь десять дней. Но я смирился со своим положением. По сравнению с тем, что мне пришлось пережить и через что пройти, я ощущал себя нынче королем.

Моя хозяйка была довольна сыновьями, которые все, кроме младшего, были женаты и занимали приличные должности. Лишь единственная дочь не при ней. В дочь влюбился еврейский парень из Польши, позже они уехали к нему на родину, а оттуда — в Израиль. Каждый месяц дочь пишет маме, но мать боится ей отвечать.

— Поверьте, — говорила мне хозяйка, — я не за себя боюсь, мне за сыновей тревожно. После той беды, что случилась в Биробиджане, когда столько евреев было арестовано, я уже сама себе не доверяю. Но я не выдержала и месяц назад все-таки написала письмо дочери. Ничего особенного не сообщала. Просто написала, что жива-здоровая и не нуждаюсь ни в чьей помощи, но кто знает, дошло ли письмо...

Я успокоил женщину, посоветовал ей слушать радио, которое после 20-го партсъезда, не переставая, вещало о культе личности Сталина. Портрет вождя, висевший в верхнем углу комнаты, она сняла и перетащила ко мне на кухню...

С тех пор как меня арестовали в 1949-м, в Биробиджане исчезли многие люди, которых я хорошо знал. Мне сказали, что они уехали отсюда по личным причинам, но это было не так: просто многих партийных и советских работников-евреев заменили на русских. Но

Рувн Штейн, литовский еврей, занимавшийся все годы озеленением города, по-прежнему оставался на своем посту. Благодаря его стараниям все красивее становились улицы и площади Биробиджана, появлялись новые зеленые скверы. На улицах города выросли стройные ряды новых домов. Улица Шолом-Алейхема уже полностью залита асфальтом, и автобусы курсируют в различных направлениях на многие километры — например, от обоззавода до Сопки.

У магазинов не видно длинных очередей, нет и толкотни за хлебом; продуктов в достатке, но какой тоской и безысходностью веет от полностью разоренных очагов еврейской культуры! Ноги сами привели меня во двор бывшего еврейского театра, где стоят дома, в которых жили еврейские артисты. Сейчас эти дома заселены новыми жильцами. Еврейские актеры разбежались по всей стране. Красивейшее здание города — Биробиджанский ГОСЕТ — переоборудовано недавно в Дом пионеров. В кинотеатре «Биробиджан» талантливая еврейская певица (бывшая актриса) исполняет русские песни в стиле танго, заполняя перерыв между сеансами.

Областная газета «Биробиджанер штерн», превратившаяся в жалкий однополосный листок, публикует переводы стихов молодого найского поэта Андрея Пассара. Этот поэт, чье имя мало что говорит даже местным читателям, живет в Биробиджане. Ему дали хорошее жилье, а хабаровский Союз писателей отправил его учиться в Москву в Литературный институт. Он пишет о рыбаках и охотниках, коими преимущественно являются его соплеменники. Народность, к которой он принадлежит, насчитывает всего несколько тысяч человек, но чем евреи хуже? Этот вопрос постоянно мучил меня.

За время моего отсутствия «ОГИЗ» открыл в Биробиджане большой современный книжный магазин на улице Ленина, где продаются книги на разных языках народов СССР, — кроме еврейского. Правда, ради декорации стоят несколько пожелтевших брошюр на идише. Заведующая книжным магазином, милая русская женщина, вполне искренне спрашивает меня:

— Разве еврейские писатели перестали писать?

В начале весны 1956 года я побывал в доме дочери Бумагина. Когда почти восемь лет назад меня арестовали, она была еще школьницей. Сейчас я держу на руках ее ребенка, внуку героя. Помню, будто это было вчера, полученную от Михоэlsa телеграмму с просьбой найти семью Героя Советского Союза Иосифа Бумагина, который до войны жил в Биробиджане и работал на обозном заводе.

Семья Бумагина проживала тогда в рабочем поселке Смидович, восточней Биробиджана. Жили они довольно скромно, если не бедно. Совсем недавно вдова Бумагина пережила большое горе: на станции под маневровый паровоз попал их ребенок, да и ей самой тогда досталось, придавило руку. До сих пор помню текст огромной телеграммы, состоящий чуть ли не из тысячи слов, которую я тогда отправил об этом воине-еврее, человеке из народа, отважно сражавшемся против фашистов и павшем в бою... За подвиг, который он совершил, закрыв своим телом вражескую огневую точку, Иосифу Бумагину было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В тексте моей телеграммы Михоэlsу я привел отрывок из письма Бумагина своим детям: он, их отец, идет на подвиг, который принесет честь и славу еврейскому народу и станет мстеством за гибель его братьев и сестер, уничтоженных фашистами...

Со временем в Биробиджане возник целый район, который носит имя Иосифа Бумагина¹. Помнится, тогда же я ходатайствовал перед властями области об увеличении пособия жене героя. Так я подружился с семьей Бумагина, и сейчас, когда я оказался на свободе, его дочь пригласила меня к себе.

Со времени больших арестов в Биробиджане местный народ стал менее разговорчивым. Мало говорила и молодая симпатичная мама, дочь Героя Советского Союза Иосифа Бумагина, внуку которого я держу на руках сейчас. Слезы наворачиваются на глаза от обиды:

¹ В июне 1946 г. рабочему поселку обоззавода, откуда призывался на войну Иосиф Бумагин, присвоено его имя. В 1975 г. улица Восточная в микрорайоне №3 переименована в улицу имени Героя Советского Союза Бумагина.

разве евреи сделали для России меньше, чем нанайцы с их поэтом, для которого в Еврейской автономной области сейчас открыты все двери, но закрыты для еврейских писателей и поэтов?

Но осталась у евреев Биробиджана тоска по еврейскому слову, которую никакая сила не смогла искоренить. Наконец-то пришло время, и вернувшиеся из лагерей еврейские писатели смогли выступить перед публикой со своими стихами. Большой читальный зал областной библиотеки имени Шолом-Алейхема переполнен. Представительницу отдела культуры, говорившую по-русски, внезапно прервали выкрики из зала:

— Идиш! Идиш! — требовали голоса собравшихся.

С затаенным дыханием слушали евреи выступления писателей на родном языке, громко аплодировали и просили: еще! еще! Простые люди, отбросив многолетний страх, пожимали писателям руки и горячо, по-братски, обнимали и целовали их.

Неожиданно меня вызвали в МГБ. Повестка на мое имя пришла на швейную фабрику, где я работал. Вероятно, чтобы не напугать меня, в «приглашении» было указано: «Для возврата документов».



Понятно — тех бумаг, которые у меня изъяли при аресте. Тогда у меня конфисковали и рукописи ранее не публиковавшихся стихов. Когда я зашел в нужный кабинет, майор, сидевший за столом, слушал по радио постановление XX

съезда КПСС. Диктор вещал о беззакониях, чинимых органами НКВД-МГБ, которые арестовывали и пытали невинных людей.

Майор учтиво пригласил меня сесть, извинился за беспокойство и подал небольшой конверт, в котором находились мои фотографии и некоторые бумаги, отобранные при аресте.

— А где мои стихи, рукописи? — упавшим голосом спросил я.

— По этому поводу вы должны обратиться к своему следователю. Понимаете, к вашему делу я не имею отношения, поскольку человек здесь новый, — вежливо ответил майор. — Вашего следователя перевели на Камчатку, в милицию...

Значит, этого сатрапа, мучившего меня во время следствия, отправили подальше — аж на Камчатку, служить в милиции. Хоть какая-то месть этому подлому человеку!

На биробиджанских евреев обрушилась новая беда: сгорела синагога. Прихожан этой единственной синагоги было мало, и никакой общинной жизни в ней, разумеется, не велось. Лишь раз в неделю, в субботу, туда приходили молиться старики. Но на Рош а-Шану и Йом Кипур синагога была забита битком. Отпросившись с работы у своих начальников, заведующих, бригадиров, приходили туда и евреи среднего и молодого возраста, обещая отработать эти часы в выходные и в другие дни.

Пожар начался в расположенной рядом мастерской. Все ее помещение вместе с соседними строениями и деревянной синагогой сгорели. Во время пожара едва успели вынести Свиток Торы. Верующие евреи не стали ждать городских пожарных, бросились в огонь и успели спасти несколько священных книг и молитвенников.

Небо Биробиджана озарилось пламенем. В этом огне погибла последняя твердыня еврейской жизни — синагога. Но благодаря самоотверженности и мужеству нескольких евреев были спасены святыни. Позднее эта группа евреев арендовала в другом месте избу, тоже деревянную, чтобы продолжать еврейскую традицию. Эта небольшое строение выглядело островком старой еврейской

жизни в бурном море новой жизни, в которой еврейской традиции, увы, не оставалось места...

В биробиджанской библиотеке имени Шолом-Алейхема, в которой когда-то были тысячи древнееврейских книг и издания по иудаике на нескольких европейских языках, осталось лишь несколько полков случайно уцелевших книг еврейских авторов. Все книги убитых еврейских писателей — Бергельсона, Маркиша, Гофштейна, Фефера, Квитко, Дер Нистера и других — были изъяты из фонда и сожжены. Многочисленные тома по иудаике гниют где-то в подвалах. Многие евреи боялись хранить в своих домашних библиотеках еврейские книги: вдруг среди них попадется книжка осужденного писателя и за это придется отвечать. На кону стояла свобода. Лишь немногие биробиджанцы с настоящим героизмом спасали еврейские книги, закапывая их в землю.

Знакомый биробиджанец с гордостью показал мне сохранившийся том избранных стихотворений Хаима-Нахмана Бялика. Книжные листы были влажные и покрылись плесенью от долгого нахождения в домашнем погребе.

Все музейные предметы и артефакты, собранные сгинувшим в иркутском центре старейшим еврейским писателем Бером Слуцким (благословенна его память!), были уничтожены.

Лишились всякого еврейского содержания получасовые радиопередачи на идише. В них можно услышать официальные отчеты из колхозов и совхозов и с промышленных предприятий о выполнении планов, перечень стахановцев. Ни одного теплого сердечного слова, связывающего между собой евреев мира, там не звучит.

Разве этот «Биробиджанский проект» завершен и, словно недельная глава Торы, прочитан? Неужели больше никогда уже не заманят сюда евреев, чтобы им же потом приписать национализм? Конечно — нет.

В последнее время тема Биробиджана стала актуальна: советских евреев снова призывают осваивать Дальний Восток и агитируют ехать «строить свою государственность». Московское радио уже несколько раз передавало выступления евреев, призывающих переезжать в Биробиджан. Правда, на эти призывы никто уже не откликается.

ся: советские евреи слишком много испытали на своей шкуре, чтобы снова попасться на ту же удочку.

Москва — Варшава — Нью-Йорк...

И вот, наконец, я на греческом корабле «Нью-Йорк». Впрочем, когда ты уже качаешься на воде, какое значение имеет название судна, на котором плывешь? С этим кораблем некоторое время будет связана моя дальнейшая судьба. Где-то в ресторане танцует публика, и звуки музыки доносятся сюда, на палубу, где я стою в одиночестве посреди ночи, между небом и гладью океана.

Судовой врач-грек еще днем доверил мне свой секрет: оказывается, он перевел на греческий язык книгу псалмов, молитв и песнопений «Stundenbuch» («Часослов») видного современного немецкого поэта-модерниста Райнера Мария Рильке. Я не единственный, кто влюблен в поэзию Рильке. У него тысячи поклонников, считающих его творчество поэтическим откровением нашего века.

Я смотрю на беспокойные волны, хочу забыться, но не могу. Перед мной проплывает вся моя жизнь. Наверное, к моему нынешнему настроению подходят строки другого замечательного поэта — еврейского — Исроэла Штерна, сгинувшего в 1942-м то ли в Варшавском гетто, то ли в Треблинке. Он написал во вступлении к своей поэме «Остроленка» (так называлось местечко в Польше, где он родился в 1894 году):

*Под шелковым небом осталась родная, близкая даль,
и где-то между деревьями бродит моя печаль...*

Стою на палубе и слушаю шум океанских волн. Океан ждет от меня ответа на вопрос, как я жил все эти годы. Хочется вспоминать только лучшие мгновения, но... Память, словно ветер, перелистывает мою жизнь, как книгу. И вот я уже где-то на последних страницах... На обратном пути от моих разрушенных мечтаний.

На обратном пути из Биробиджана я лишь на один день остано-

вился в Москве. А для чего больше? Куда мне пойти, кого я могу сейчас увидеть?

Пойти на улицу Горького, где плачут от одиночества стены в квартире Переца Маркиша? Свернуть в Лаврушинский переулок, где оконные рамы огромного красного дома №17 наглухо заколочены после гибели Бергельсона? На Маросейке мне уже не будет улыбаться, идя навстречу, Лейб Квитко. Его улыбку смыла кровь в подвалах Лубянки...

А Эзра Фининберг из Сокольников? Этому, как его называли в писательской среде, благородному бедняку крупно повезло: вовремя умер — в 1946-м, от фронтовых ран, не от мучений и издевательств.

С той поры, как в 1944-м я покинул Москву, появились новые кварталы. Но все мне здесь чужое... Я живу еще в лагере, и мои усталые глаза по-прежнему устремлены в сибирские заснеженные дали, где многие москвичи разделили со мной горькую судьбу лагерника.

Здесь, в Москве, у меня был с собой адрес бывшего зэка-еврея, который вместе со мной находился в одном лагере, но освободился раньше меня. Когда на воле встречаются бывшие заключенные, они относятся друг к другу, как братья. За короткое время, что он находился на свободе, он стал прилично выглядеть.

Сейчас я у него дома, в гостях; хозяйка хлопочет, накрывает стол. Вокруг моего бывшего товарища по несчастью крутятся домочадцы — дети, другие родственники. До отсидки мой товарищ работал инженером на солидном столичном предприятии, но сейчас на эту должность его не возвращают. Дети, пока он сидел, выросли, стали самостоятельными, содержат семьи. В синих глазах бывшего лагерника прятется глубокая печаль, которая рвет мое сердце.

— Тот, кто побывал «там», — говорит он мне, — к нормальной жизни уже вернуться не может.

Я пытаюсь перевести разговор на другую тему. Говорю другу, какая у него красивая жена, да и он сам еще ничего, не стар, но мои комплименты мало на него действуют, и его взор по-прежнему печален. Он провожает меня на вокзал, к поезду, который должен увезти меня в Польшу. Мы смотрим друг на друга, обнимаемся, а в глазах наших слезы...

Я стою на палубе корабля, и вокруг шумит вечный океан. Благодаря этим водам д-р Натан Бирнбойм¹ из убежденного апикойресатеиста превратился в маймена, то есть в верующего. Почему я вспоминаю об этом? Почему меня терзает непреходящая боль за убитых представителей моего народа? Именно это заставило меня из верующего превратиться в еретика? И все же я всей душой и всеми чувствами близок к Богу. Я Его слышу, как мелодию. Я узнаю Его великолепие здесь, в океане. Даже в лагере, когда я от Него удалялся, терял сам себя, я все равно мучительно к Нему возвращался...

Эта боль, этот внутренний протест лишь усилились во мне, когда я ступил на польскую землю, где большая часть моего народа была уничтожена. Боль не уходила даже в те светлые минуты, когда я увидел в Польше напечатанные по-еврейски газеты, журналы, книги, услышал мамэ-лошн в постановке еврейского театра — впервые за столько лет насильственного отчуждения от всего этого. Было невыносимо горько от того, насколько уменьшилось еврейское население Польши; и это в стране, где проживало более трех миллионов моих братьев и сестер! И что это были за евреи! Великолепная еврейская жизнь, которая была ключом, сейчас разрушена!

Напрасно в своем родном городке Острув-Мазовецке я искал хотя бы намек на прежний еврейский быт, довоенную еврейскую жизнь, окрашенную в пестрые тона. Из десяти тысяч евреев, проживавших в моем городке, едва отыскал двоих. Первый вообще-то был из другого города, скиталец, который случайно здесь очутился; другой — местный, острувчанин, в годы гитлеровской оккупации прятался в лесах. Видимо, там и тронулся рассудком. Власти, правда, вернули ему квартиру, в которой этот старик и прозябает в одиночестве. Иногда он приходит на то место, где когда-то стояла одна из синагог, и роется в руинах, выискивая в груде камней нечто такое, что оставил здесь навсегда...

¹ Натан Бирнбойм (Бирнбаум) — (1864, Вена — 1937, Нидерланды) доктор юриспруденции, ранний теоретик еврейской национальной идеи, давший ей название «сионизм». Инициатор Черновицкой конференции по языку идиш (1908), активный борец за признание идиша. Лидер ортодоксального движения «Агудат Исраэль».

Кровь стынет в жилах, когда я вижу место, где в конце 1939-го гитлеровцы расстреляли шестьсот островских евреев. Среди них была и праведная Хая-Сара, моя любимая мама, светлая ей память! Эти островские евреи погребены в одной общей огромной яме.

На аллею у небольшой речки, возле которой я гулял в юности и мечтал о чистой и светлой жизни, гитлеровцы вытаскивали из синагог евреев и заставляли их мыть речной водой грузовые машины, а потом... Разве могут меня утешить рассказы моих знакомых поляков о том, как они спасали евреев? Не спору, находились праведные люди, которые прятали у себя, рискуя жизнью, моих соплеменников, но их было так мало, что я не берусь назвать их число. Я требую счета с Того, с кем я сейчас один на один между небом и гладью океана.

А корабль плывет, и океан шумит... Я все ближе к самому большому городу мира — Нью-Йорку, к моим близким, которых я не видел много лет; все эти страшные годы неволи они стояли перед моими глазами.

Мой отец рэб Носн-Довид (благословенна его память!) приехал сюда из Остров-Мазовецки сорок лет назад, в 1919 году. Здесь, в Нью-Йорке, он прожил всего несколько лет и умер. У себя на родине он был кантором на все субботы и праздники. Бывший зять ребе из Парисова, святости ему было предостаточно и в Польше. Я же, напротив, еду сюда с таким изобилием будничности, что хотел бы хоть немного окунуться в еврейство. Я ищу шумной еврейской жизни, по которой так истосковался и от которой я сам отдалился. Словно мстя себе самому за погасшие субботние свечи на столе моей матери.

Послесловие

Мейлах Равич

Исроэл Эмиот. Интимный профиль

Исроэл Эмиот родился 15 января 1909 года в польском городе Остров-Мазовецка. Накануне Второй мировой войны уехал в Советский Союз. Жил в Биробиджане. Семь лет пробыл в сибирском каторжном лагере. В 1956 году во второй раз оказался в Биробиджане и в том же году вернулся в Польшу. В 1958-м приехал в США, жил в Рочестере, штат Нью-Йорк.

Его жизнь разрезана на мелкие фрагменты, словно пестрая картонная картинка из популярной игры для детей. Тронь такой пазл — и он распадется на кусочки. Чтобы собрать картинку заново, требуется немало терпения. Ее цельность, смысл и состоят из всех этих деталей. Такой предстает перед нами и жизнь Исроэла Эмиота — удивительного поэта, рассказчика, мемуариста.

Молот судьбы опустился на него всей своей мощью, ударил по жизни писателя, раздробив ее на мелкие куски. И все же — и это можно назвать чудом — и жизнь его, и это литературное произведение, созданное самой жизнью, целостны...

Я попросил Эмиота выделить несколько важных дат его жизни. В итоге получился своеобразный биографический лабиринт от дня рождения и далее. Его отец и мать были каждый по-своему индивидуалисты, и их связь, от которой появился на свет Исроэл, долго не продержалась. Знарок Торы и каббалист, отец увлекся идеями Гаскалы, жил в одиночестве, в 1918 году отправился в Америку, а уже в 1920-м умер.

Раннее детство Исроэла проходило в метаниях между любовью к страдающей матери и отцом, который боролся за право жить современной жизнью, между священными страницами дедовского Талмуда и трепными светскими книжками, которые ему подсовывал отец.

Вот как Эмиот разъяснил мне происхождение своего псевдонима. Исроэл — первое имя писателя, но у него есть еще и второе имя — Мейлах, которое ему, согласно еврейской традиции, родители прибавили в качестве оберега во время тяжелой болезни в детстве. Фамилия его отца была Яновский (Janowski). «Иот» — так по-польски называется буква «J». Исроэл взял первую букву своего второго имени — «Эм» и прибавил к ней «Иот». Так и родился его псевдоним. По паспорту же Эмиот значился Гольдвассером — по фамилии матери.

Мы познакомились в Варшаве еще до войны, но общались мало. Как-то Эмиот напомнил, что однажды он побывал в моем флигеле, где я лежал больной, а он читал мне свои стихи. На отдельных строчках я акцентировал внимание, просил юного друга (он был моложе меня на шестнадцать лет) прочесть их снова и по их подобию написать целое стихотворение. Целое. Тогда я не знал, и никто еще не мог знать, что трагическая разорванность и драматическая изломанность станут характерными признаками поэзии Исроэла Эмиота, которому было суждено — как бы парадоксально это ни звучало — стать целостным дитя искореженного времени и изуродованных человеческих судеб. Перефразируя слова одного раввина: на всем белом свете нет ничего более цельного, чем разбитое еврейское сердце...

Чтобы узнать о жизни Эмиота, достаточно взглянуть на его худое лицо, на котором застыла печать скорби. Когда он улыбается, лицо его страдальчески искажается. Когда он рассказывает о кругах ада, через которые прошел, то на губах его блуждает странная потусторонняя улыбка, будто он и впрямь явился с того света.

Мы встретились в 1956 году в Варшаве, когда Эмиот вернулся из СССР. В нем бродила какая-то дикая радость, даже не радость, а ликование воскресшего из мертвых. Мы шли по центральной улице польской столицы, залитой ярким электрическим светом. Внезапно

Эмиот срывается и бежит на другую сторону улицы. Первое впечатление — будто он чего-то испугался. Но вот он уже на противоположной стороне улицы обнимается с каким-то мужчиной, и оба они громко кричат — оказалось, это польский художник, с которым они вместе отбывали срок в исправительно-трудовом лагере в Сибири...

Весной 1959-го мы встретились уже в Рочестере, штат Нью-Йорк. Эмиот выглядел печальным и потерянным. Мы, старые друзья, пытались скрасить его одиночество. В Рочестере у него были жена и дети, но долгие годы разлуки каждый из них думал, что встретиться им уже не суждено. И вдруг — чудо. Но чудеса редко случаются вовремя.

Мы сидим в гостях у знакомых. Эмиот все время молчит. Вдруг он начинает говорить, тихо, будто сам с собой: «Я все еще слышу его. Каждую ночь слышу плач. Плач из тюремных камер. Он пробивается сквозь все стены. В него спеленуто какое-то слово, но что за слово — понять невозможно. И так каждую ночь. Снова и снова. Неужели я приговорен слышать это всю оставшуюся жизнь?.. По ночам, когда я слышу эти рыдания, мне кажется, что я лежу на нарах. Когда я просыпаюсь, я по лагерной привычке протягиваю руку вниз, чтобы нащупать, лежит ли там одежда».

У Давида Бергельсона есть рассказ «Свидетель» — один из множества его произведений. Он заканчивается фразой главного героя: «Как я могу помереть? Ведь я же свидетель!» Вот и Эмиот свидетель. Сейчас он снова творит: пишет стихи, рассказы. Стихи его звучат, как молитва:

*Помоги убогому, Всевышний,
он ползет к Тебе на четвереньках,
чтобы быть наравне с другими людьми...
Раз на него наплевал весь мир,
так хотя бы Ты обрати на него внимание...*

Его рассказы — его воспоминания о пережитом, о сломанной, разбитой жизни.

И тогда, в Польше, и сейчас, в Рочестере, я всегда искал встречи с Эмиотом. В часы наших встреч я ему по-товарищески советовал и позже повторял это в письмах: «Соберитесь с силами и опишите спокойно великие мучения и невзгоды, которые уготовила вам судьба. Помните, что вы свидетель — один из миллионов — и вам суждено свидетельствовать за Мойше Бродерзона, которого Всевышний забрал к себе на седьмой день после освобождения».

Эмиот ответил так:

«Свои свидетельские показания я уже написал, и моей рукой во-дила лишь правда...»

Мейлах Равич (Зхарье-Хонэ Бергнер, 1893, Радымно, Галиция, ныне Польша — 1976, Монреаль, Канада) — еврейский поэт и эссеист, один из создателей группы экспрессионистского толка «Халястрэ». Автор многотомного издания «Майн лексикон» — энциклопедического издания очерков, портретов и биографических справок о еврейских поэтах, прозаиках, драматургах и журналистах, написанных на основе личного знакомства.

Исроэл Эмиот

БИРОБИДЖАНСКОЕ ДЕЛО

(Хроника страшного времени)

Перевод с идиша: Зиси Вейцман

Редакторы: Леонид Школьник

Елена Сарашевская

Верстка и дизайн: Татьяна Истомина

Художник: Владислав Цап

Отпечатано в типографии ООО «Омега-Пресс»
680000, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 8б

Подписано в печать: 29.10.2020 г.
Формат 60×84/16. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. 11,3 усл. п.л.
Тираж 500 экз. Заказ № 6512